
Мария БУШУЕВА

ПОВСТАНЕЦ

Роман

Приметы

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

Александр Пушкин

Znaki

Jechałem do was: żywe sny
Za mną wiły się tłum zabawy,
I miesiąc z prawej strony
Towarzyszył mój bieg odważny.

Jechałem precz: inne sny...
Duszy zakochanej smutno było,
I miesiąc z lewej strony
Towarzyszył mi smutno.

Marzeniom bez końca w ciszy
Tak zanurzamy my, poeci;
Tak przesądnych znaki
Zgadzam się z uczuciami duszy.

*Aleksandr Pushkin
(перевод Hades21)*

Вступление

Передо мной книга «Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy». Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, 2004 года издания. В каталоге краткие биографии и фотографии польских повстанцев — сибирских ссыльных.

В Иркутске есть улица Польских Повстанцев. А ведь сосланные сюда участники двух восстаний 1830—1831 и 1863—1864 годов выступали против Российской империи, против русского царя, за независимую Польшу.

Мария Бушуева — прозаик, автор нескольких книг прозы, в том числе романов: «Отчий сад» (М., 2012), «Лев, глотающий солнце» (М, 2004), а также публикаций в периодике: «День и ночь» (повесть «Юлия и Щетинкин»), «Литература» (рассказы, критика), «Московский вестник» (повесть «Григорьев»), «Алеф» (литературная критика), «Москва» (повесть «Рудник», литературная критика), «Дружба народов», «НГ-Экслибрис», «День поэзии» (стихи), «Дети Ра» (литературная критика), «Гостиная» (Филадельфия) (проза, статьи), «Урал», и др. Несколько рассказов были включены в сборник избранной прозы (2007). Под псевдонимом Мария Китаева напечатала в региональном издательстве роман «Дама и ПДД» (2006), публиковалась в сетевых журналах. Автор известной в кругу специалистов литературоведческой монографии «„Женитьба“ Гоголя и абсурд» (ГИТИС). Стихи переводились на французский язык. Повесть «Рудник» вошла в лонг-лист премии им. Фазиля Искандера (2017).

НЕВА 2'2019

В конце XIX века в Иркутской губернии оказалось не менее 4000 поляков. Многие жители города и сейчас несут в себе частицу польской крови... В Сибирь после Январского восстания было сослано около 50 тысяч польских повстанцев.

Ответ на вопрос — почему сибирский город хранит добрую память о мятежниках и судьба одного из них в центре романа.

В книге «Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy», основанной на архивных данных, есть короткая справка и о моем герое, «сыне шляхтича из Галиции», повстанце Викентии Николаевиче Краусе (von Krauss): по отцовской линии он был потомком древнего рода Галиции, а мать его, по воспоминаниям, была полька.

В последней архивной справке из Иркутского архива значится: «09.08.1905. Фио умершего: дворянин Каменец-Подольской губернии Викентий Николаевич Краус. Оставил сына 21 года». Похоронен на Иркутском городском кладбище 11 августа.

Единственный сын Викентия Николаевича, родившийся в Иркутске (дочь умерла во младенчестве), в разговорах со своей женой, уже в советские годы, всегда подчеркивал, что все остальные Краусы, Краузе, Крузе никакого отношения именно к этому роду, идущему из Галиции, не имеют и что единственно правильное написание его фамилии — Краус. Даже в Варшавском каталоге даны варианты фамилии — следствие искажений переписчиков, хотя на помещенной в книге фотографии отчетливо: Викентий Краус. Точное написание также на геральдическом сайте <http://goldarms.narod.ru/galizia.htm>: барон фон Краус (v. Krauss) и рыцарь фон Краус (Ritter v. Krauss) (Галиция)

Роман «Повстанец» ни в коей мере не претендует на документ, потому я считаю необходимым, используя архивные данные и семейные предания, все же изменить некоторые имена, оставив подлинными другими. Так же я поступаю и с названиями мест.

Прозаические отрывки из рассказов Николая Бударина — подлинные: тетради с его черновиками — хранятся в семейном архиве.

А имя сына главного героя романа «Повстанец» пусть будет Андрей, по-польски Анджей.

Глава первая. Москва. 1906 год

Впрочем, на польский лад звал его только отец.

22 сентября 1879 года политический ссыльный Викентий Краус, римско-католического исповедания, вступил в брак с девицей Екатериной, православного вероисповедания, дочерью умершего чиновника Иркутского общего губернского управления Егора Елизарьевича (в другом документе — Георгия Алфеевича) Зверева и здравствующей вдовы его Елизаветы Федоровны .

Поручителями при бракосочетании были: «по жениху дворянин Генрих Христианович Штейнман и крестьянин Верхоленской волости Петр Селеванов. По невесте: канцелярский служитель Григорий Григорьевич Смоленцев».

Матушка Екатерина Егоровна звала сына Анрюшей.

* * *

Вот и сейчас снилось: матушка бинтует ему ногу и шепчет: « Все обойдется, Анрюшенька, все обойдется». А проснулся резко оттого, что Эльзина болонка Жужа — вполне добродушная собачка, — в игривом нетерпении покусывая большой палец его ноги, чуть не рассчитав, слишком сильно сжала зубы.

— Ах, Жужа, отстань! Я встаю, встаю...

Ну да, наверное, уже почти полдень: солнце высоко, Сибирь далеко... Сибирь?! Он вскочил с постели: Матка Boska, меня вчера выдворили из Москвы! И свидетельства об окончании не дали! Я же уезжаю в Сибирь.

— Мы с вами, господин Краус, поступаем великодушно — не лишаем вас дворянского звания, не собираемся далее держать в Бутырках, как вашего опасного знакомого социалиста Николая Бударина, а отправляем на родину, в Сибирь, вы ведь родились в славном Иркутске? Я сам проездом несколько лет назад побывал там, Чехов Антон Павлович прав: культурный город, настоящая Европа, и это для вас — мягкое наказание, признайтесь? И не в кандалах отправляем, как вашего батюшку, а свободной птицей. Счастье ваше, что вы еще ничего не успели натворить — только нехорошее знакомство завели. Липнут, как пчелы, к революционерам романтические натуры вроде вас. А еще — утонченные барышни. Вот и к Бударину такая приезжала — бестужевка... Эти петербургские курсы, на мой взгляд, гнездо разврата и ненужного женскому полу свободомыслия... Я вас понимаю, так сказать, родовое занятие — восставать. Но и времена не те, знаете ли, и ведь родина-то у вас одна — Россия. Скажу вам искренне: меня лично всегда удивляло, отчего восставших в 1863 году поляков поддержали некоторые русские, правда, сомнительный элемент — революционеры тоже, к тому же эмигранты, звонарь Герцен, к примеру, или беспокойный масон Михаил Бакунин... Последний даже оружием надеялся снабдить бунтовщиков, к счастью, ему это не удалось... А главное, Андрей Викентьевич, вы еще очень молоды и к тому же талантливы, сама наша великая пресветлая императрица Мария Федоровна на выпускном балу вручила вам цветок, так ее вы растрогали своим исполнительским мастерством, жаль, что грубые жандармы все испортили, арестовав вас перед торжественным вручением свидетельства об окончании консерватории... А не шалите! Но, поверьте, у вас все еще впереди...

Что возразишь? Полковник Говоров оказался не менее культурным, чем Иркутск. Даже сочувствующим.

— Бударин, да будет вам известно, господин полковник, не простой человек, он — писатель.

— А мы ему разрешили сочинять рассказы, тетрадь выдали с тюремной печатью за подписью начальства. Путь сочиняет, — полковник усмехнулся, помолчал и вдруг добавил грустно: — Но у Бударина чахотка...

* * *

Эльза еще спала: ее красота, казавшаяся ему в полумраке кафешантана гаснущим светом падшего ангела, сейчас стала какой-то кукольной.

Кафешантан влек студентов: музыка, полумрак, вино, а порой и кокаин. И, конечно, полуодетые танцовщицы. Выделялась среди них юным изяществом, наивностью светлых глаз и детских губ приехавшая из Риги Эльза, девушка смутного происхождения, едва говорившая по-русски. Это позже Андрей узнал, что она — содержанка одноногого хозяина кафешантана, и, охваченный жалостью, к гибнущей полудетской чистоте, решил спасти Эльзу, вырвать из волосатых лап огромного паука трепещущую стрекозку. Они с Эльзой стали встречаться, конечно, тайно: про хозяина студенты поговаривали, что он дико ревнив и, возможно, бывший уголовный преступник, а к тому же подторговывает кокаином и сам часто бывает одурманен.

А завел в кафешантан Андрея Юзек Романовский, сын поляка, сосланного в Сибирь за Январское восстание вместе с отцом Андрея: младшая сестра Юзека вышла

замуж за русского миллионера — золотодобытчика, благородно посылавшему Юзеку деньги, чтобы тот, живя в Москве, мог снимать хорошую квартиру с прислугой. В этой-то квартире в Столешниковом переулке и случилась роковая для Андрея встреча с революционером Николаем Бударинным.

— Эльза, — он, подойдя к кровати, тронул ее обнаженное плечо, — пора вставать, тебе нужно идти домой, иначе хозяин хватится...

Она села на постели, потянулась по-кошачьи, сказала обиженно:

— Я не могу домой!

— Почему?

— Ты все забыл, пьяница, я твой жена! Ты мне спасал! Мы с тобой вчера попобвенчал.

И в этот миг он ощутил, как сильно болит голова.

Вспомнилось: после венчания Юзек Романовский смеялся, что на обратном пути от сельской церкви они потеряли все иконы.

Он долго стоял, глядя в окно на кудрявую листву и на горящие над листвой купола, их яркий свет сейчас проникал в мозг и, распавшись на тысячи мелких искр, точно разбитый муравейник, начинал не светить, а больно копошиться, охваченный страшной тревогой.

Потом сказал, не оборачивая лица к Эльзе:

— Тогда собирай вещи. Вечером — уезжаем.

Глава вторая. В кандалах. 1864 год

В 1906 году в Сибирь уже можно было ехать поездом: за пять лет до этого завершилось строительство Китайско-Восточной железной дороги и началось железнодорожное движение по Транссибирской магистрали: поезда начали ходить от Санкт-Петербурга до Порт-Артура и Владивостока, а в октябре 1905 года была пущена и Кругобайкальская дорога.

Поэтому Андрей Краус и Эльза поедут поездом.

Долгая дорога не сблизит их, а отдалит: она будет маяться скукой, ругать длинный путь и глупого Андрея, на станциях ломано и манерно кричать на старух, торгующих пирожками. В этом изменчивом мире, через несколько лет запишет он в дневнике, есть и странное постоянство: то же Солнце на небесах, те же долгие томительные пространства Зауралья, те же вечные старушки на станциях...

Он будет смотреть в окно и думать. И полюбит дорогу на всю жизнь. Будет молчать. Только однажды, не выдержав жалоб Эльзы, скажет:

— Замолчи, наконец, Эльза! Мой отец проделал этот путь не на поезде, а на подводах и пешком — в кандалах!

* * *

До появления железной дороги и простое путешествие по Сибири, даже со своими подушками, теплыми вещами и возможностью останавливаться в трактирах для обеда и в дорожных гостиницах, дабы отдохнуть, было крайне тяжелым: вот что писал Антон Павлович Чехов о дороге в Иркутск:

Приехал я в Иркутск вчера ночью и очень рад, что приехал, так как замучился в дороге и соскучился по родным и знакомым, которым давно уже не писал. Ну-с, о чем же интересном написать Вам? Начну с того, что дорога необыкновенно длин-

на. От Тюмени до Иркутска я сделал на лошадях более трех тысяч верст. От Тюмени до Томска воевал с холодом и с разливами рек; холода были ужасные, на Вознесенье стоял мороз и шел снег, так что полушубок и валенки пришлось снять только в Томске в гостинице. Что же касается разливов, то это казнь египетская. Реки выступали из берегов и на десятки верст заливали луга, а с ними и дороги; то и дело приходилось менять экипаж на лодку, лодки же не давались даром — каждая обходилась пуда крови, так как нужно было по целым суткам сидеть на берегу под дождем и холодным ветром и ждать, ждать... От Томска до Красноярска отчаянная война с невылазною грязью. Боже мой, даже вспоминать жутко! Сколько раз приходилось починять свою повозку, шагать пешком, ругаться, вылезать из повозки, опять влезать и т. д.; случалось, что от станции до станции ехал я 6—10 часов, а на починку повозки требовалось 10—15 часов каждый раз. От Красноярска до Иркутска страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку... Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие... (А. П. Чехов — Н. А. Лейкину. 5 июня 1890 г. Иркутск).

А если та же бесконечная дорога, тысячи километров, в кандалах по этапам?

Лишенный за бытность в шайке мятежников, как значилось в приговоре, всего правосостояния по конфирмации командующего войсками Киевского военного округа и сосланный в Нерчинские рудники на каторжные работы, Краус сначала содержался в киевской тюрьме, потом в каземате Санкт-Петербурга, дальше Москва, Колымажный двор — и в Сибирь. По рекам переправляли не на пароходах, а на баржах, где спали политические вместе с уголовниками под палубой, за Уралом снова начинали стучать подводки, были грубые конвоиры, были злые окрики и даже рукоприкладство, два поляка, уже явно не в себе, кинулись на жестокого конвоира, пытаюсь отнять у него оружие, — оба были убиты охраной...

Но Краусу попался симпатичный веснушчатый парнишка-конвоир из крестьян, Тимофей Локтев, отдававший, когда никто не видел, своему ровеснику-арестанту часть своей еды. Иногда, если уже все спали, они беседовали. Краус, выросший на Волыни, владел, кроме немецкого и французского, украинским и русским. Родным языком он всю жизнь считал польский.

— Чего ж вы против царя-то пошли? — начинал рассуждать Тимофей Локтев, недоумевающе улыбаясь. — Царь ведь не нами поставлен, а самим Господом. У нас вот в деревне старик живет, Чубатый его зовут, он нам про Индию рассказывал и вот что говорил: там, в Индии, как еще только человек родился — уже на своем месте: ежели на свет явился во дворце, значит, так его Бог отблагодарил за хорошие, добрые дела в его жизни, что была у его раньше, ибо, Чубатый учил, помрет человек и снова родится, душа его бессмертна, значит, новое тело отыщет. А коли был человек дурен да зол, других притеснял, вот и его в другой-то его жизни будут тоже притеснять. Потому Чубатый учил: терпи. Что получил, то и заслужил. А ты, выходит, терпеть не стал, на царя пошел...

— Царь-то не наш...

— А вот что я думаю: нет у нас на всей земле правды и христьянской любви, пока существуют эти двое — «наш» да «не наш». От их все беды... Вот мой хлеб — он ведь тебе тоже «не наш», а я даю и говорю — бери, и ты ешь, не отворачиваешься, и хлебушек становится «наш», а ты мне как родной брат. Так и мир...

— Но ведь не войдешь ты в царский дворец и не скажешь, что он общий, то есть, как ты выражаешься, «наш»?

— А ты погоди, и во дворец войду!

- Так ты революционер, Тимофей Локтев! И твой Чубатый тоже.
- Старик он...

* * *

В Перми долго держали в тюрьме, безобразно кормили, но голод был столь силен, что Викентий поймал себя на полном исчезновении своей обычной брезгливости; потом снова затряслась дорога, обессиленные лежали на телегах, а он, хромя, часто шел пешком, прикованный к подводе цепями. Но в Тобольске попал в лазарет: внезапно началась горячка, старый фельдшер обнаружил воспаление почек — арестантский халат плохо защищал от сквозных свищущих ветров. Лазарет был тюремный, в маленькой душной комнате на привинченных к полу железных кроватях стонали больные: на свободные положили пана Кравчинского, свалившегося от пневмонии и мучающегося кашлем Янека Романовского, а рядом с Викентием оказался травмировавший о телегу спину длинноносый австрийский подданный Курт фон Ваген, схваченный в Варшаве.

— Агнешка! Агнешка! Агнешка! — в бреду повторял Кравчинский, иногда садясь на постели и бессмысленно оглядывая комнату. — Агнешка! Ты где?

Краус впадал в полубытье: ноги отдельно от него все шли, и шли, и шли. Но в больных грезах стал меняться пейзаж, исчез хмурый Тобол, шумевший невдалеке, растворилась петербургская тюрьма, колокола Москвы поплыли, растеклись, а кресты, точно птицы, стали вспархивать и улетать, и лишь один, золотисто улыбающийся, сел на ладонь Викентию, и какое-то девичье лицо, с маленьким круглым подбородком и светлой короной волос надо лбом, тут же возникло... и сразу ярко вспыхнуло лицо Оленьки, Ольгуни, киевской подруги, первой любви.

— Викентий, милый, — уговаривала она, — зачем ты с ними? Зачем кровь, зачем бунт? Ты ведь наш, волынский... Я против, против! Моя бабушка — русская, меня называли в честь нее. И мы все славяне, понимаешь? И твоя мама польской крови! И все, что вы затеяли, дурно и кончится дурно! Отец приехал из Львова: поляки буквально истязают бедных крестьян-русинов! Я знаю, ты в этом не замешан, ты веришь в торжество правды и чести... Но вас всех арестуют! И отправят далеко-далеко! Мы с тобой никогда не увидимся!

— Ты Кассандра... Кассандра...

Приговор: шесть лет кандалных работ на нерчинской каторге.

Тобольск исчезал, куда-то проваливался навсегда лазарет, шестилетнего Викентия снова везли из Галиции на Волынь, кудрявилась листва, вышивали свои узоры ласточки, старый отец гладил его по влажной челке..

Курт фон Ваген наклонялся к Викентию, трогал лоб.

* * *

Николай Леонардович Краус — потомок старинного немецкого рода, месяц назад срочно продал свое обветшалое имение бывшему своему крепостному и управляющему: только что кончился период военной диктатуры в Галиции, ставшей реакцией власти на революционные события 1848 года, — и Николай Леонардович потерял освобожденных законом крепостных и землю, ставшую собственностью крестьян.

— Впрочем, все это громко звучит, Викентий, — говорил он в дороге с сыном, а на самом-то деле — с самим собой. — Крепостных-то было у нас всего трое: няня твоя Ирма, муж ее Богдан, на котором все наше скудное хозяйство и держалось, да дочь их, что кухарила... Теперь наш с тобой клочок земли им перешел. И вот что поразит-

ло меня, сын: Богдан ведь, казалось, был предан мне сердечно, а ныне так огрызается и глядит, точно всегда ненавидел... Хорошо, Катаржина не дожила. Больно видеть, как был ты обманут в своих лучших чувствах...

Несколько лет назад его жена, мать Викентия, умерла, оставив единственного наследника — трехлетнего сына. И сейчас Краус срочно отвозил ребенка к его бабушке и дедушке по материнской линии, панам Лисовским на Волынь.

— Но и дед твой обнищал, только остался один гонор, мол, мы герба Любич. А родственник, богач Лисовский, знаться с бедной родней считает ниже своего достоинства. Живут дед с бабушкой твоей в своей маленькой деревеньке, большую усадьбу их два года назад купил лесоторговец Абрам Лифшиц — деньги с продажи и проживают, жаль было дома, его так любила Катаржина, детство ее прошло в усадьбе. Чудесное место, недалеко Припять... Но не было у стариков другого выхода. Ты же единственный у них внук. Денег теперь хватит на твое образование... О, Matka Boska!

* * *

Ваген писал стихи. И когда старому фельдшеру удалось победить: горячка от Крауса отступила, — прочитал по-русски:

Но веру я не потерял, друзья!
Раскаянья в душе не сыщет злой судья,
И с Польшей, как с невестой, разлученный,
На каторгу в Сибири обреченный,
От праведной борьбы не отрекаюсь я!

Курт изучал русскую историю и литературу, был страстным поклонником Пушкина, которого считал жертвой русского царизма, а сам царизм — тормозом не только для польского, но и для русского прогресса. Будучи старше Викентия на десять лет, он успел пожить в Петербурге, прикоснуться к его литературной жизни, но, по его словам, только сейчас, ступая по русской земле в кандалах, понял т а й н у России.

— Понимаете, Краус, — полупешотом говорил он, — тайна России в ее дорогах, не в самих, конечно, каковы они, эти дороги, наши избитые о камни ноги уже знают, а в слиянности с дорогой русской души.

— Я помню у малоросса Гоголя: «какой русский не любит быстрой езды», — улыбнулся Краус.

— Не в быстрой езде дело, а в том, что душа настоящего русского не привязана к дому, как у поляка или немца, особенно немца, она как бы всегда в дороге, всегда за пределами своей усадьбы или крестьянской избы, именно в этом их, русских, непобедимость.

— Какие-то, Курт, унылые, серые избы у них... Нет сравнения с Волынью!

— Э, не видели вы мужичьих дворцов на их вольном Русском Севере! Там и церкви есть удивительные. Поэмы в дереве....

— Не совсем улавливаю вашу логику.

— Русские легко расстаются с материальным, с собственностью. Понимаете? И выйдя за ворота, не страдают о покинутой удобной постели, о своем сундуке, — впереди долгая дорога, — и русская душа поет, ощутив простор и влечение к неизведанному.

— Отчего же они так яростно сражаются за свой дом? Гнали французов даже крестьяне с вилами!

— Да, мужик русский защищал свою избу, из оконца которой видна уходящая вдаль проселочная дорога... И когда он из избы вышел, чтобы отогнать француза, вдохнул

воздух простора, воздух воли, победить его уже не было никакой возможности, ибо врага гонят с их земли не люди, а сами дороги — люди только получают силу от каких-то таинственных непобедимых духов российских дорог.

— Вы поэт и романтик, Курт.

Оба тихо рассмеялись — это был смех зародившейся дружбы. Во тьме души забрезжил свет, и уже не так пугало Викентия, что до Иркутска еще более трех тысяч верст. Даже то, что с Куртом можно было говорить то на польском, то на немецком, согревало душу.

А Кравчинский умер.

Начались морозы. Тело промерзло до костей. Кандалы обледенели.

Умер в пути и старый поляк Тадеуш Кокушко, был он не шляхтич, а простой солдат.

И веснушчатого конвоира уже не было, он ушел с другой партией арестантов.

Глава третья. Нерчинский округ. 1865 год

Краус Викентий Николаевич

Веры Католической

Свойств не имеет

Росту 2 ар. 6 вер.

В о л о с ы:

на голове русые

бровях русые

усах русые

Глаза серые

Нос

Рот обыкновенные

Зубы все

Подбородок круглый

Лицо чистое

Лоб обыкновенный

Особья приметы: левая нога ниже колена была сломана.

Распределен приказом 20 ноября 1864 года, в Иркутск прибыл 27 января 1865 года, отправлен для работ в Нерчинские заводы 25 марта 1865 года.

* * *

Нерчинский округ тянулся от хребта Яблонового до границ китайских. Суровый этот край к середине шестидесятых годов XIX века был уже знаменит в истории, причем более не русско-китайской торговлей, позже переместившейся в Кяхту, не золотодобычей, а именитыми каторжанами: хранили гордое терпенье здесь декабристы, в Забайкалье было сослано восемьдесят восемь декабристов-дворян и пять солдат; тянули тяжелую лямку поляки-бунтовщики прошлого... Семь каторжных тюрем, свинцово-серебряные рудники (позже начался и золотой промысел), бараки, лазарет, дома для местного начальства, отдельный дом заведующего ссыльнокаторжными...

Почти две тысячи польских «январских» повстанцев попали на Нерчинские рудники, среди них и австрийский подданный Курт Ваген со своим другом, лишенным всех прав состояния Викентием Краусом, которого переписчики усиленно называли «Краузе», путая его с еще одним ссыльным повстанцем, Осипом Краузе, впоследствии основавшим в Иркутске театр и подарившим Большому театру прекрасный бас своего сына Ивана Крузе, ставшего известным певцом Иваном Петровым.

* * *

Викентий сильно хромал: неудачно упал еще в Киеве, однако по жесткому вердикту: «страдает болью в ноге, но к работам годен» — был отправлен вместе с Куртом на рудники при Петровском заводе. Петровский железодельный завод с крупным поселением, выросшим вокруг него, находился за тысячу километров от Нерчинска, за грядой Яблонового хребта. К счастью, поселили их с Куртом в деревянном бараке с зарешеченными окнами: через него тянулись перегороденные, как клетки, длинные серые нары, но полной изоляции, как в камерах мрачной тюрьмы, четырехугольном здании, пугающе выделяющимся в центре поселения, все-таки не было: Викентий и Курт могли общаться не только во время каторжного труда (о, русские фразеологизмы!), но и по вечерам. Узнававший все обычно быстрее всех поляк-красавчик Романовский сказал, что тюрьма переполнена: все отделения, по пять камер в каждом, не имевшие окон, забиты уголовными преступниками. Именно в эту тюрьму попали декабристы после раскрытия начальством планов по вооруженному восстанию на рудниках. Правда, чуть позже семейным декабристам было разрешено поселиться на отдельной улице в маленьких, специально построенных домах.

— Выжить здесь можно, — дня через два сказал более общительный Курт, — я поговорил с Янеком Романовским, он все уже разузнал: каторжане зимой не мерзнут, кормят сносно... И мы, надеюсь, не отправимся к праотцам, а вскоре будем отпущены на поселение!

И он оказался прав: многие из поляков-каторжан, по их личным прошениям, будут вскоре отправлены на поселение, а по возвращении всех прав и в Иркутск.

Но пока только отчаяние и усталость, все усиливающаяся боль в ноге и ледяные кандалы!

Курт, более общительный и, по его признанию, более жизнерадостный, подбадривал юного друга, читая ему стихи Пушкина: в свободные минуты, повторяя строки вслух, он тут же переводил их на немецкий и на польский.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Przyjaźń i miłość do was spłyną
Mimo pomrokę i zapory,
Jak w wasze katorżne nory
Spływa mój wolny głos.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора...

Więzienia runą, okowy opadną,
I wolność w radości zorzy
Hołd powitalny wam złoży
A bracia oddadzą wam miecz¹.

— Все это героическая романтика, — уныло говорил Викентий, — а реальность здесь — могилы, могилы, могилы... Романовский расспросил караульного офицера Потапова, по-моему, это единственный приличный человек на весь завод, — недалеко от нашего барака похоронены невыжившие дети декабристов, несчастные солдаты, участники восстания и несколько декабристов...

Почему офицер Потапов, происходивший, как потом выяснилось, из семьи мелко-го чиновника алтайского Змеиногорска, сочувствовал ссыльным, Викентий не понимал: то ли и в его роду были ссыльные, то ли читающий рыжеволосый офицер тяготел к куль-

¹ Перевод неизвестного автора.

туре, — почти все участники Январского восстания (впрочем, и польские «ноябрьские» предшественники) были людьми достаточно образованными. Но Потапов помогал каторжанам всячески, чем только мог.

— Здесь же умерла красавица Александрина Муравьева, приехавшая к мужу... Хорошо, что я не женат. Мне жаль было бы жертвенной женщины, — Курт грустно улыбнулся. — Но таких женщин так мало, что на меня бы не хватило. А что до романтизма — разве великая цель единения поляков и уничтожение двуглавого орла Московии не стоит одной судьбы, одной жизни? Но мы выживем!

— У меня в этом большие сомнения, — Викентий вздохнул. — А что касается единства поляков — это идеализм, возвышенная иллюзия. Ты жил в Варшаве, Курт, и просто не представляешь, какая началась жестокая вражда между крупными польскими помещиками и бедняками, давно разорившейся польской шляхтой, живущей из поколения в поколение на их земле, еще в XV или в XVI веке прапрапрадеды заключили договор и обязались платить землевладельцу чинш... В Волынской губернии, как писали в газетах, почти 114 тысяч десятин земли в чиншевом владении. И богатый помещик не только шляхтой чиншевиков не считает, но вообще относится к ним хуже, чем к крестьянам: у бедняг нет десяти рублей для марки, дабы подать прошения о признании их старинного дворянства, а часто они и писать не умеют! Отец объяснял мне, что право, на которое однодворцы опирались, было ликвидировано еще в 1840 году. И ныне их обманывают все: русская власть, поляки-помещики, еврей-торговцы.... Мой отец, окончивший университет, сочувствуя беднякам, писал за соседских неграмотных однодворцев жалобы! И пойми, Курт, богач-помещик никакой польской солидарностью с нищими арендаторами своей земли не охвачен. Одна цель у него — отнять землю... Иногда самые алчные выгоняют из родового дома всю семью в холода, с детьми и стариками! Есть, конечно, и гуманисты, как среди помещиков, так и среди российской власти. Но — их мало, очень мало... Все мои беды, Курт, из-за переезда отца из Галиции на Волынь... Просьбу о признании нашего дворянства отправить отец успел, но чтобы подтвердить титул, нужна была сначала австрийская бумага, а потом утверждение доказанного российской стороной. Отправив первое прошение, отец умер. А ведь род наш древний, еще с Тевтонским орденом связан... Я разочарован, Курт, — и разочарование мое началось не сейчас, а еще в Киеве, когда Рудицкий пытался установить связь со Львовом, ждал помощи — и не дождался. Все оказалось напрасно. Нас быстро схватили, только в Киеве расстреляли девять человек... Теперь есть время все вспомнить и обдумать, и я вижу: восстание было обречено на провал именно из-за разобщенности поляков и ненависти к поляку-помещику мало-российских крестьян и крестьян-русинов. Последние больше немцам преданы. К отцу тоже из-за фамилии относились с почтением. А наше киевское крыло восстания было сразу сломанным! Да и вообще штаб, созданный генеральским сыном Рудицким, отец его, кажется, был участником предыдущего восстания, слабо оказался связан с местным населением, с украинской шляхтой, а все надеялся на вас, на Варшаву... Отправляли к вам Громадзкого, он тоже уже где-то здесь, в Сибири... Но любой бунт, я это понял, Курт, самоубийство: или человека, или нации... И для чего теперь мне жить?

— Упадок духа приводит к болезни, Викот, — так странно сократил Курт имя Крауса, — крепись, друг. Сама жизнь все выправит. Просто жди.

* * *

Но заболел через два дня не Викентий, а Курт. С жесточайшей ангиной его отправили в лазарет. И дни без него потекли, как ледяная вода, обжигая одиночеством сердце.

Оказалось, что я не герой, думал Краус. Не герой. Не герой. Не герой. Хотелось в отчаянии разбить голову о стену. Ты слышишь, Ольгуня? Где ты? Я так сожалею, что не послушался тебя! Все эти бунты бессмысленны! Понимаешь, мы, люди, верим, что управляем жизнью, и я верил, что мой муравьиный героизм поможет изменить судьбу мира, но не люди изменяют судьбы стран и народов, это человеческая иллюзия, судьбы мира движимы невидимыми воздушными рычагами, невидимыми подземными потоками, вспышками на Солнце, светом Луны... Кто мы? Песчинки. Кто я? Измученный малодушный страдающий каторжанин. Нужно было остаться с тобой. Понимаешь, я... я не верил в любовь. Считал ее пустяком. Но здесь, где бродит призрак приехавшей к мужу Александрины Муравьевой, а ты ведь русская по бабушке, Ольгуня, русские умеют любить, здесь что-то вдруг открылось во мне, точно дверь в истину... Где ты сейчас? Кому улыбаются твои милые губы? Мне так нравилось, что нижняя округла по-детски, а верхняя немножко вредная, шляхетская. Но вредным-то, Ольгуня, оказался я.

Из лазарета Курт вернулся через неделю. Выглядел он посвежевшим.

— Викот, зря ты волновался, на каторге болезнь — путь к свободе, лучший способ немного передохнуть... К тому же у штабс-лекаря очаровательная дочка Полина, такой свежий бутон в таком жутком сосуде! Не думал я, что в страшной Сибири произрастают цветы!

— Сибирь кошмарна!

— И еще обнадеживающая весть: в лазарете я познакомился с паном Гарчинским, бедолагу отправили в Сибирь прямо с семьей, и оказалось, что это для него обернулось добром: Потапов по секрету ему сообщил, что уже есть приказ: Гарчинского первого отпускают из нашей темницы на поселение...

Глава четвертая. Красноярск. 1913 год

Необъяснимые силовые зигзаги судьбы порой сталкивают, словно бильярдные шары, малознакомых людей, и нередко именно такое столкновение меняет направление их судеб.

Ели бы не Юзек Романовский, познакомивший Андрея Крауса с Николаем Бударинным, разве прозябал бы Андрей сейчас вместе с женой Эльзой в Красноярске, казавшемся ему гораздо менее интеллигентным городом по сравнению с его родным Иркутском. Да и дышалось в Иркутске как-то свободнее: ну не смогли бы законопослушные красноярцы выбрать городским головой бывшего политссыльного! А в Иркутске Болеслав Шостакович служил губернатором!

Впрочем, время культурного расцвета Иркутска было уже позади — новая Сибирь набирала силу, старые города уходили в тень, дряхлел Тобольск, Нерчинск весь казался жалкой раздробленной тенью роскошного дворца миллионера Михаила Бутина, железная дорога обогнула Кольвань и Томск, остановив навсегда развитие первого и сильно накренив экономику второго. И хотя Красноярск, то богатевший во второй половине XIX века на золотодобыче, то кутивший и нищавший, мог раньше других сибирских городов похвастаться электрическим освещением особняка Гадалова, талантливой архитектурой, особенно зданиями, построенными по проектам Леонида Чернышева, хорошими гимназиями и даже своей особой интеллигенцией, щедро жертвовавшей средства из своих личных карманов на образование и культуру города, ну никак не лежала у Андрея к нему душа.

Впрочем, тяготил его не только сам город, но и груз, нелепо взваленный им когда-то на свою худую спину, — Эльза. Если бы не склонность его души к жалости, он бы

давно убежал от нелюбимой жены на край света. Но совершенно не приспособленная к практической жизни, ничего не умеющая, не читающая книг, зевающая от любого серьезного разговора Эльза, оставь он ее одну, без всяких сомнений, погибла бы: ее изящная красота уже потеряла краски, выцвела, точно у сломанной куклы, навсегда брошенной детьми в чулан, отвыкшие от танцев ноги оплыли и огрузнели, грудь обвисла — даже в самый дешевый кафешантан ее бы теперь не взяли... Дни напролет Эльза или сидела перед зеркалом (они квартировали в доме Шрихтеров), или раскладывала бесконечные пасьянсы. По-русски она говорила по-прежнему плохо, с матерью Андрея, Екатериной Егоровной, в их единственный за эти годы приезд в Иркутск, скандалила по любому пустяку. В общем-то, из-за Эльзы и пришлось вернуться в Красноярск.

Да, зигзаги судьбы причудливы. Какая невидимая, неведомая сила притягивает друг к другу людей, заставляя их, казалось бы, совершенно случайно встретиться еще раз?

Николаю Бударину, после четырех лет тюрьмы отправленному на поселение в Енисейскую губернию, вскоре разрешили в связи с болезнью проживать в Красноярске. К нему приехала из Санкт-Петербурга худенькая, чуть горбоносая девушка Муся Ярославцева, выпускница словесно-исторического отделения Высших женских Бестужевских курсов, где давали юным представительницам женского пола прекрасное образование: лучшие профессора читали лекции по истории древней и новой, по философии, литературе, логике, психологии и педагогике, открывали девушкам теорию познания, учили языкам. Муся владела французским и немецким, которые учила еще в Покровской петербургской гимназии (была она с одиннадцати лет сиротой), и дополнительно выучила английский. Даже подружку-американку завела, приехавшую в Петербург. Уезжая в Америку, та плакала, обнимая ее и шептала: Мэри! Помни всю жизнь свою американку!

Из славянских языков Муся на курсах выбрала польский.

— Зачем тебе польский, — смеялась ее старшая сестра Наташа, тоже бестужевка, но предпочитавшая изучению филологии точные науки: физику и математику, — это же сплошные шипящие?

— Наш прапрадед был из Польши, — объясняла Муся, — мне рассказывала бабушка...

— Не из Польши, а из Белоруссии! И займись лучше политэкономией, глупышка!

— Ну тебя, — обижалась Муся, — тебе бы только твои интегралы!

— Как хорошо, что вы здесь, — говорила она сейчас Андрею, встретив его на аллее городского парка, и в ее зеленых глазах плясали рыжие искры радости, — мы с Николаем завтра венчаемся, несмотря на то, что он законченный атеист, таков порядок! Венчание будет в самом Богородице-Рождественском соборе. От меня поручительницей моя сестра Наталья, она преподает в гимназии математику, приехала сюда ради меня в каникулы из Пензы, а Николай никого в Красноярске не знает, вы не откажете стать поручителем от жениха?

Андрей не отказал. Только спросил:

— Николай по-прежнему пишет свои рассказы? Или оставил это занятие?

— Пишет. Мечтает наконец начать публиковать...

* * *

Он брел по Красноярску, дошел и до храма Рождества Богородицы: этот мощный собор в русско-византийском стиле понравился ему еще впервые увиденный на открытке в Иркутске, возможно, русские материнские корни так давали себя знать? Знаменитый архитектор Тон действительно расстарался: оригинальный получился храм, крестово-купольный, но с праздничными шатровыми завершениями. Вызвало досаду,

что сейчас недалеко от собора весело крутилась большая карусель. Вот так всегда, подумалось, мирское, праздное торжествует.

Он не заметил, стоя с поднятой головой и следуя взглядом за кругами-нимбами летающих над куполом птиц, как к нему подковылял оборванец-старик. Тут же откуда-то уткой вынырнула старушка, забормотала: «Это, господин хороший, святой наш богомолец, Тимофей Силыч Локтев... Уж не пожалейте ему копейку на хлебушек».

Какой-то очень добрый свет струился, точно из щелей ветхого дома, из морщин этого высокого старика, — нищий не вызвал жалости, наоборот, вдруг захотелось припасть к груди старика, прося защиты: в нем как бы пульсировала теплая сердцевина русского мира, половину которого удивившийся своему желанию Андрей носил в себе, но так и не мог полностью ее принять.

Он дал старику денег. Тот что-то очень тихо благодарно забормотал и, когда Андрей уже хотел идти, вдруг произнес громко и отчетливо: «Останутся от сего храма одни камешки...»

— Что? — переспросил Андрей.

— Да пепел!

— Его Господь наш даром пророчества наделил за святую жизнь, он кандалных жалел, сирот от их оставшихся спасал, все свое им раздал, один из этих сирот нонча приисками владеет, все ему жить в его дворце предлагает, но Тимофей Силыч не идет, — выглянув из-за спины старика, пояснила старушка. — И про прошлое и про то, что грядет, все, все знает. Порой страшное говорит. Мол, колокола энти будут в пыли валяться, а красноглазые черти станут глумиться над ими!

— Так будет, — закивал старик, — катят красноглазые черти на Рассею-матушку кровавое колесо.

Андрей торопливо сунул еще монет старушке в шершавую маленькую ладонь, и тут же неприятно кольнуло: не мы ли с Будариним красноглазые черти? Не отец ли мой? Зайцем, петляя, побежал от собора.

* * *

Бударин, иссохший от болезни, еле держался на ногах во время венчания и, когда пришли в небольшой его дом на Песчаной улице, где он уже с полгода жил под надзором полиции, извинившись, прилег на кровать, а Наталья с Мусей засуетились, нарезая колбасу и сыр для бутербродов, ставя самовар. Андрей сел к столу на стул, что стоял ближе к лежащему.

— Вы, мне кажется, очень устали от борьбы, Николай? — спросил он. — Или... или готовы продолжать?

— Готов продолжать. — Бударин приподнялся на локтях, подбежавшая Муся поправила ему подушку. — Мой первый революционный опыт — опыт Ростова — и сейчас вдохновляет меня, я же сам с Тамани, а борьбу в Ростове начинал, там и первый арест, и чухотку получил там же, в тюрьме. Но представляете, Андрей, в революцию пятого года на Дону многотысячные были демонстрации! Поднялись все: железнодорожники, рабочие заводов, прогрессивные городские мещане! Смелость оцепяняла народ, не боялись ни полиции, ни казаков, ни черносотенцев! Мой товарищ по борьбе Илья Вайсман повел толпу к тюрьме, и перед нашим казематом, где я тогда находился, собралось более десяти тысяч человек. Все потребовали выпустить на свободу политических заключенных — революционеров, в том числе и меня. И власть сдалась! Сдалась! Вот она — народная сила! Жаль Вайсмана — убили его через год... А потом Петербург, снова арест, Бутырская тюрьма... И вот я здесь. И недолго мне здесь быть, Андрей, я ведь знаю, что обречен.

Шумел самовар, заглушая его слова, но Муся тревожно глянула в сторону говоривших.

— Женился вот, чтобы не пропал мой труд — я ведь вроде как писатель, есть рассказы, очерки, есть и повесть у меня.. Революционер — человек, изначально обреченный, все поглощено в нем, как учил Нечаев, единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией. Хотя нечаевские крайности мне не близки... Публиковать рассказы пробовал — раза два отказали, а больше мне недосуг было этим заниматься. Но писать не бросил. И, конечно, нравится мне Мусенька давно, она ведь ко мне приезжала из Петербурга на тюремные свидания...

— Милая девушка.

— А вы не были в Тамани? Лермонтов назвал место паршивейшим городишком. А я люблю до сих пор.

— Не был.

— Брат мой, есаул Юрий, порвал со мной связь, узнав про то, что я стал большевиком, даже на порог не пустил, старый отец проклял, так-то... А мне снится, снится Тамань, станицы, степной и морской воздух... Может быть, окажись я там сейчас, болезнь бы отступила. Таманская земля сама лечит. Там же грязевые вулканы, знаете?

— Признаться, первый раз слышу.

— И неудивительно: о них только местные жители знают. Такие небольшие сопки, иногда вдруг оживающие и плюющие целительной грязью. — Бударин тихо засмеялся. — От болезней костей и суставов эта грязь помогает, кожные высыпания лечит, а воздух вокруг такой, что легкие стали бы как новые... И вот сегодня перед венчанием снилось мне, что поднимаюсь я по круглой сопке, недалеко от станицы, где мой дед жил, есть такая, иногда тоже пробуждающаяся, и вот из ее вершины вверх вырывается не фонтан лечебной грязи, которой нас деды да бабушки мазали, а обманная, злая, медленно выползает черная змея прямо к моим ногам. Это смерть.

— Вы же большевик, Николай, а верите в сны, как гимназистка. — Краус сказал это в утешение. Он и сам видел: продлить Бударину жизнь может только чудо.

— Пьем чай! — подойдя к столу, воскликнула Наталья. И Андрей впервые посмотрел на нее внимательно: в отличие от тонкокостной зеленоглазой сестры, в ней не было и капли аристократизма, портили фигуру широкие прямые плечи, а лицо — чуть скошенный подбородок, но вместе с тем лицо освещали умные карие глаза и от всего ее облика не очень красивой курсистки исходила какая-то добрая, приятная сила. Андрею вспомнился Толстой, княжна Марья...

Посидев с полчаса, он простился и ушел.

Смотреть на Бударина было тягостно.

* * *

Возвращаться к Эльзе было не менее тягостно, но — по-другому: Бударин вызывал у Андрея сочувствие и горечь оттого, что ему никак нельзя помочь, Эльза же просто мешала, словно огромный, намертво привинченный к полу нелепый шкаф, перегородивший комнату, лишивший ее пространства и света из окон, шкаф, от которого было невозможно ни на минуту отвлечься.

Чтобы избавиться от горького впечатления, он забрел по дороге в книжную лавку Кузьмина, известного в крае протоиерея и издателя, публикующего в местных газетах весьма острые статьи.

Андрей никогда сюда не заходил и сейчас был удивлен, что среди кузьминских брошюр о вреде пьянства и тоненьких книжек, излагающих жития святых, попадались, видимо, не противоречащие общему духу романы и стихи местных сибирских авторов.

Помочь Бударину, издав его рассказы? Про Владимира Кузьмина, снискавшего своими проповедями славу златоуста, говорили, что он верой исцеляет безнадежных больных, но Бударин ни за что не пойдет в церковь, нечего и надеяться. Да и протоиерей вряд ли посочувствует революционеру... красноглазому черту! А на издание книги нужны деньги. Все, что оставил отец, почти что прожито.

В углу комнаты сидела на табурете служительница-монашка. Помещение лавки было маленьким, но в стене, противоположной входу, оказалась еще одна сливавшаяся со стеной блеклая дверь, которую бы не заметил Андрей, если бы из нее не вышла девушка или девочка-подросток, но уже с высоко стоящей грудью; высвеченные беглым лучом пушистые темно-русые волосы, укрупняющие голову, и короткий, чуть, пожалуй, широковатый нос придавали ее лицу что-то львиное, гордое, а когда Андрей увидел ее глаза — огромные, серо-синие, какое-то мучительное ощущение-воспоминание всколыхнулось в нем, не обретая ни четких очертаний, ни выразивших бы его слов.

Девочка улыбнулась монашине, и ее зубы, идеально белые, ровные, словно прочертили на воздухе комнаты мгновенную короткую полоску, тут же исчезнувшую.

— Вы можете пойти, Аграфена, — сказала девочка, — дядя Володя разрешил мне вас заменить...

Глава пятая. Сосланный на житье

Курт все больше времени проводил в лазарете Петровского завода, сообщая тюремному офицеру Потапову, с которым у ссыльных благодаря Романовскому установился тайный контакт, то об одном, то о другом своем недомогании. Викентий видел: недомогание у его друга только одно — влюбленность в лекареву дочь Полину.

— Вот так и предают друзей, — полушутя-полусерьезно говорил он, — ради девичьего сердца!

— Я не предал нашу дружбу, Викот!

— Как же! Я томлюсь в одиночестве, а тебе совершенно это безразлично.

— Не будь, как девушка, Викот!

Викентий несколько раз видел Полину: розовощекая пышная блондинка, она всем своим улыбочивым обликом противоречила тому мрачному клочку земли, по которой весело ступали ее крепкие ноги. Лекарь со смешной фамилией Оглушко вел свой род по отцу от ссыльного поляка, а по матери — с Украины; оба его предка были замешаны в бунтах: прадед по отцу попал в Сибирь как конфедерат, а предок по матери был не последним в бунте гетмана Многогрешного. Это рассказала мнимому больному изнывавшая в заводе от скуки Полина — отведав утром уроки по чтению и письму с детьми кандалных, она проводила у постели Курта почти целый день и потчевала его не только домашними пирожками, не достававшимися, конечно, другим каторжанам, но и занимательными сибирскими историями: девушка оказалась выпускницей Иркутского Девичьего института и любительницей чтения, к которому пристрастилась, коротая вечера на съемной квартире в Иркутске. Ее мать умерла, когда Полине было всего два года, и, получив образование, девушка решила повсюду следовать за лекарем-отцом. Она явно гордилась своим «благородным воспитанием» и тем, что среди воспитанниц Девичьего института были девушки из «самых прогрессивных семей», учились в нем дочери и внучки декабристов: Лиза и Зинаида Трубецкие, учились Бестужева, а окончившая институт дочь Владимира Раевского Софья — он остался в Сибири — помогала институту до сих пор...

— Ты не можешь даже представлять, Викот, — рассказывал, в очередной раз вернувшись из лазарета, Курт, — какой метаморфоз случается с людьми в Сибири! — Он

все чаще теперь говорил с другом по-русски. — Помните о гетмане запорожского войска Демьяне Многогрешном? Не очень? Это есть наш предшественник, подающий нам руку из XVII века! Я был историк, изучал Украину. Гетман добился от русского царя полной автономии, то есть имел место выдающийся дипломатический ум. И что? Оговорили его, обвинили в связях с Турцией, что означало: есть заговор против России, схватили, приговорили к смертной казни, но заменили ее на ссылку в Сибирь. На всю жизнь, Викот!

...Куда сослали? В Иркутск! Это есть прообраз — наша судьба. Но я хочу говорить не о нем, а о его брате — полковнике Василии Многогрешном. Василия сослали вместе с гетманом и поместили в тюрьму в Енисейской губернии. И вскоре на сибирский город Красноярск, он был раньше острог, нападают сибирские инородцы, их называют кыргысы. Русские с ними справиться не могут. И что они делают? Они выпускают из тюрьмы Василия Многогрешного и ставят его командиром — он разбивает кыргысов и спасает Красноярск... Город основал тоже сосланный литвин Дубенский. Литвин мог быть и немец. — Курт улыбнулся торжествующе, и от мороженый кончик его длинного носа покраснел. — И теперь — самое важное. Полковник Василий Многогрешный после победы стал православный священник! Мать Полины была дочь священника, его внучка! А еще у нее есть в роду князь кыргысов. Вот что такое Сибирь. Здесь есть зарождение нового русского мира. Россия — окраинная Европа, а Сибирь — не Азия, Сибирь — Европа-Азия, новый континент, Викот!

— Для меня страшный край...

...страшный край.

Но внезапно свидания Курта с Полиной закончились: на Потапова донес плюгавый мужичонка из уголовных; офицера, обвиненного в административных нарушениях, запрещенной связи с каторжанами Романовским и Куртом Вагеном и послаблении им, в срочном порядке отправили в Иркутск на дознание.

Белая оптимистичность Курта слетела с него, словно утренняя дымка с вершин холмов. Он стал хмур. Жалел Потапова.

— Отправят его в солдаты!

— В лучшем случае.

— И представь, Викот, в лазарет опять лег Романовский! Он и правда болен.

— Теперь Полина улыбается ему, — пошутил Краус и тут же пожалел об этом.

Курт побледнел и, сузив глаза и губы, прошептал:

— Если бы не каторга, я бы вызвал вас на дуэль, Краус! Полина не может улыбаться Романовскому!

* * *

В стволе дружбы завелся крохотный жучок-древоточец и помог Викентию легче отнестись к разлуке с Куртом: на основании Высочайшего повеления императора Александра II от 16 апреля 1866 года он был уволен от каторжных работ и 28 июня 1866 года приписан на поселение в Идинскую волость, а на основании Высочайшего повеления от 25 мая 1868 года стал считаться в разряде сосланных на жительство.

Дом, который ему выделили в селе Шанамово, был маленьким, в одну комнату, но дали помощницу — немолодую крещеную бурятку Лукерью, сразу же сообщившую, что дочь бедняка-соседа, что недавно помер, стала знатная жена, живет с дворянским мужем и детьми богато в Олонках, детей много, все сильно грамотные, это отсюда далеко, сосед и не жил с дочерью-то, может, она и не его, там Ангара-красавица, а вот она, Лукерья, счастья не видит, вынуждена в прислугах у преступника быть...

— А здесь что за река? — спросил он.

— Эка.

Отправив Лукерью, он пошел побродить по селу, в котором почудилось ему что-то обреченное. Впрочем, это мое настроение набрасывает на действительность сети, подумалось грустно. Почти одинаковые дома ближней к реке улице выстроились в один ряд, точно конвоиры. Дворянский муж дочери соседа Лукерьи — не Раевский ли, первый из декабристов, еще до восстания сосланный в Сибирь? О нем много рассказывал знаток русской истории Ваген. Как сейчас Курт? Где? Ведь теперь можно и встретиться!

И Краус вдруг ощутил, что почти свободен.

Берег был пологий, кое-где черневший землей, он зеленел неровно, точно был сшит из лоскутов, как казенное покрывало на кровати в доме. Рыба, сверкнув в пене, тут же скрылась под легкой волной. Вспомнилась Припять, ее веселый кудрявый берег, подпрыгивающий на быстрой волне цветочный веноч...

И вдруг ему показалось, что он почти дома. Кандалы, жуткая тюрьма, горечь поражения, позор, стыд, унижение, боль — все отступило, черные тени прошлого еще маячили вдалеке, но становились все меньше, все прозрачнее, все прозрачнее... И долгожданное их исчезновение принесло чувство облегчения такой силы, что тут же преобразило, наделив летними красками и пением птиц, весь мир вокруг и чужое полубурятское село на берегу незнакомой реки, приблизив к душе, породнило с общечеловеческим небом над ним.

Возле каждого дома белоснежно цвела, окутывая душистым ароматом, сибирская черемуха, от реки к селу тянулся праздничный цветочный луг.

И вечером, наливая в кружку горячий чай, он принял как дар судьбы кривоватый пирог с капустой, принесенный Лукерьей, потому что в самом простом, безыскусном открылась вдруг ему улыбка бытия, его тихий ответ на все его страдания: жизнь — это дар. Живи.

И он понял, что только сейчас, здесь все-таки выбрал жизнь, а не смерть.

* * *

...Вскоре приехал в Шанамово Курт. Поездки друг к другу ссыльных не сильно приветствовались губернским начальством, но всегда можно было договориться с урядником, сунув ему часть своего крохотного пособия. Тем, кого не лишили сословных привилегий, платили по пятнадцать копеек в день, это было уже что-то, но Викентий пока получал всего шесть, причем три из них отдавал Лукерье за ее помощь по хозяйству.

Не виделись они с Куртом более двух лет. Его нос, казалось, стал еще длиннее, а шея вытянулась, точно у цапли. Австрийские подданные, участники Январского восстания, по ходатайству Австрии попали под амнистию, и вскоре Ваген должен был возвращаться на родину. Ждал только Высочайшего повеления.

— Мы с тобой были в стороне от строящейся железной дороги, я еще находился в Петровском заводе, ты уже на поселении, но именно весть о восстании наших с тобой друзей на Кругобайкальской дороге достигла Австрии, и она озаботилась ссыльными австрийскими подданными. Не увези тебя отец из Галиции ребенком, ехали бы сейчас вместе... Правда, не знаю, задержусь ли я в Галиции, скорее всего, перееду обратно в мою обожаемую Варшаву.

— Что теперь жалеть о прошлом?

— Я ни о чем не жалею, Викот. И поверни время вспять, не изменил бы ни одного дня в своей жизни. Кандалы сделали меня гражданином. И самое главное: здесь, в Сибири, я встретил свою единственную любовь! Я обручен! Я люблю Полину больше жизни! Как только я устроюсь, она приедет ко мне, пока мы еще не женаты, отец ее вдруг потребовал, чтобы ради женитьбы я, лютеранин, принял православие, но семью придется содержать, а быть православным в Варшаве — значит не получить хорошего места.

— А какой род занятий ты собираешься избрать?

— Профессорский, — Курт улыбнулся, и кончик его носа покраснел, — напишу диссертацию по русской истории. А может быть, и книгу о великом Пушкине и декабристах. Сибирь сделала меня настоящим историком.

— Будешь преподавать? Рассказывать юным полякам о России?

— Нам с тобой есть о чем порассказать, Викот. Например, ты, наверное, не знаешь, что здесь же, в Идинской волости, в Олонках, до сих пор живет Владимир Раевский? Удивительный человек! Дворянин, на крестьянке женился, торговцем стал, бесплатную школу для крестьянских детей организовал... Все-таки у многих русских есть какое-то врожденное бескорыстие... Знаешь, как писали буряты в прошлом веке: «Русские цари — чистые бодхисатвы, разумно святые и премилосердные существа, а русский народ, при ангельской доброте его сердца, так богат, что лошадей своих привязывает к серебряным коновязям...»

— Амнистия растопила тебе сердце? И ты теперь сторонник монархического правления?

— Нет, — нахмурился Курт, — я не изменил своим убеждениям и не раскаялся. А после расстрела четырех наших братьев, возглавивших Кругобайкальский мятеж, не мог возлюбить Российскую монархию. На что восставшие надеялись? Наивные герои! Я за парламент. А Раевского хвалю, потому что сравниваю его с Романовским, помнишь одного?

— Еще бы.

— Этот плут, выйдя на жительство, причем почему-то раньше тебя на полгода, тоже стал учить детей местного населения грамоте. Но далеко не бесплатно, взимает плату за обучение от пятидесяти копеек до одного рубля в месяц. Как ты понимаешь, беднейшие так и останутся безграмотными. Вот и все его революционные идеалы. И представь, второй год имеющий практику в Иркутске отец Полины, к нему Романовский периодически навещается, его не осуждает, называет просветителем!

Можно верить, а можно не верить в предчувствия, но когда они перед расставанием обнялись, сквозь сердце Викентия просквозил тоскливый щемящий звук. И точно эхо, отозвался Курт:

— Неужели не увидимся больше?

Глава шестая. Шанамово

Часто он думал о роковых поворотах своей судьбы, мысленно возвращаясь в прошлое и пытаясь понять — могла ли его жизнь сложиться иначе. Ведь к двадцати пяти годам он, за три года до этого уже окончив юридическое отделение университета, мог стать, к примеру, успешным адвокатом, быть счастливо женатым на Ольгуне... Он отправил в Киев три письма, но ответа не получил. Впрочем, вряд ли он бы остался на юридическом отделении: в справедливость судов вера у него была подорвана еще в четырнадцатилетнем возрасте, когда сосед-однодворец, выгоняемый из своего дома вместе с тремя детьми со своей земли помещиком Павлионским, безуспешно пытался добиться правды через суд, доказывая, что в этом доме, на этой земле проживали и умирали его предки и сам он исправно платил за свой крошечный земельный надел и беленую малороссийскую хату, крыша которой, дабы хата производила впечатлительные дворца, поддерживалась отделанными под колонны древесными стволами.

Вспоминалась и первая встреча с Рудицким. Малообщительный, гаснущий от самого легкого ветерка сомнения в чувстве Ольгуни, не имеющий друга-юноши, с которым мог бы разделить робкие мысли о будущем, российскую власть воспринимающий

как мачеху, презрительно усомнившуюся в древнем достоинстве его рода, Краус был рад приглашению Рудицкого — тайные собрания привнесли в его только начавшуюся взрослую жизнь ту казавшуюся великой идею, которой так жаждет юная душа: «*Za naszą i waszą wolność!*» — взволнованно повторял он.

— Польша, растерзанная Российской империей, Пруссией и Австрией за двадцать три года прошлого века, — кричал Рудицкий, — фактически исчезла с европейских карт! Мы должны восстановить Польшу в ее исторически границах! Правительство, возглавляемое Стефаном Бобровским, издало манифест, в нем оно провозгласило бедняков-крестьян собственниками их наделов. Компенсацию крестьянам выплатить должно государство!

Краус вспоминал жавшихся друг к другу детей, выгнанных из дома, и мать их, плачущую над узлами...

— Те участники восстания, которые не имеют своей земли, получают как награждение небольшой земельный надел из национальных фондов.

— Я разделяю ваш пафос, пан Рудицкий, — говорил преподаватель Киевского университета Станислав Борский, — хотя и вынужден как историк заметить: Российская империя не Польшу делила, а принимала участие в трех разделах Речи Посполитой. Мы, поляки, славяне племени ляхов, на отошедших Российской империи территориях никогда не жили, хотя и самые богатые наши паны позже получили там свои владения, Речь Посполитая — это не Польша!

— Что вы за чушь говорите, Борский! — резко оборвал его Рудицкий. — Российская империя — наш враг, это единственно верное утверждение, все остальное — ваша историческая схоластика!

Борского тоже сослали, но Краус в Сибири с ним не встретился.

Собрания были замаскированы под обычные молодежные вечеринки и проходили в доме жившего за границей дяди Рудицкого — в роскошном особняке, со всех сторон укрытом садом. Были среди сторонников восстания привлеченные Рудицким малороссы-студенты Киевского университета, но все они говорили только по-польски и готовы были сражаться против русских не за политическую самостоятельность Малой Руси, но, как поляки, за восстановление независимости Польши.

— Эти малороссы — предатели, — убеждала его Ольга, однажды побывавшая с ним в укрытой садом усадьбе, — если восстание победит, они отдадут Киев польским магнатам, и наши крестьяне не свободу обретут, а полное рабство.

* * *

Мог ли он все-таки избежать рокового поворота своей судьбы? Ведь она дала ему знак: когда он торопился на первое тайное собрание, ему встретились три жандарма, ведущие арестанта в кандалах. Он и сейчас помнил полубезумное лицо со впалыми щеками и космами спутанных волос, прилипших ко лбу. Они встретились с арестантом взглядами — не передал ли он этим взглядом Викентию свою участь? Он вдруг физически ощутил, что к его лицу и телу и в самом деле пристали чужое лицо и чужой костюм.

— Но это же не я! — воскликнул. — И я сброшу это прямо сейчас! Я смогу.

Он вышел из дома, пошел по селу. Осенние ветра еще не набрали силу, и листва хоть и местами пожелтела, но опадать не думала. Бурливая Аха-Гол (он уже научился немного говорить и понимать по-бурятски) тоже не думала пока сдаваться начинающейся осени, хотя на ее коварной волне уже подсакивал в последнем приступе отчаяния желтый листок... Здесь берег был крутой, с него иногда, разбегаясь, прыгали в воду местные мальчишки, русские и буряты. Когда-то этот край не принадлежал

России, но воинственное прошлое давно забылось, окрестянившиеся русские казаки и буряты жили вместе, некоторые потомки бурятской знати, тайши, записались в сибирское купечество, другие быстро опростились, и, возможно, эти неграмотные смуглые бурятские крестьянские ребятишки — их потомки....

Вспомнились слова отца: «Нищета бывших шляхтичей уничтожила их аристократизм, потому что они не понимали: настоящий аристократизм — это не богатство, не балы, не тысячи крепостных, это — культура книги. Только книга сделала из полуобезьяны человека».

Местная девушка поднималась от реки к селу, в корзине светлело чистое белье, мельком он подумал о Раевском, сделавшем культурной свою хорошенькую крестьяночку всего за два десятилетия. Впрочем, женщины пластичны.

Но все-таки остаться здесь, в глуши, на долгие годы — не моя судьба. Я человек города. И жажду деятельности. Как ты говорил, мой далекий друг: «Болезнь — путь к свободе». Верно, Курт? Ты ведь еще упоминал, что господин Оглушко, отец твоей невесты Полины, теперь практикующий врач в Иркутске...

Итак — в Иркутск!

* * *

Его Высокопревосходительству
Господину Военному Генерал-Губернатору
Восточной Сибири

Политического ссыльного
Балаганского округа Нерчинской Волости
Викентия Николаевича Крауса

Прошение

Утруждаю Ваше Высокопревосходительство покорнейшей просьбой разрешить мне проживать в городе Иркутске для излечения болезни. Вследствие переписки, возникшей по этой просьбе, я по распоряжению Господина Начальника Губернии, был освидетельствован в Иркутской Врачебной управе, и медицинская экспертиза признала меня действительно больным, требующим немедленного и тщательного лечения. Акт медицинского Свидетельства Врачебной управы представлен Господину Губернатору, и Его Превосходительство усматривал из Оного, что я болен ревматизмом суставов, и изволил сделать распоряжение о помещении меня в больницу или выделении средств для лечения в городе Иркутске на дому у медика Оглушко Ивана Иннокентьевича, которому я вполне доверяю свое здоровье и который уже значительно улучшил его. Моих личных средств, приобретенных на поселении тяжкими трудами, для лечения недостаточно. Я желал бы продолжать этот способ лечения, а потому предоставляю при сем медицинское Свидетельство пользующего меня врача о безусловной невозможности помещения меня в больницу без явного вреда для моего здоровья.

Честь имею почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне проживание в Иркутске и пользование помощью врача сначала на собственные средства. При чем нужным считаю присовокупить, что Врачебная управа в свидетельстве своем не делала никакого заключения о моей болезни и что я уже пользовался лечением в больнице и выпущен из оной для дальнейшего лечения под непосредственным наблюдением врача в чем и выдано было мне Свидетельство, которое представлено Господину Начальнику Губернии, следовательно второе помещение в больницу не принесет для моего здоровья ни малейшей пользы. Высылка же меня из города обратно к месту причисления в деревню Шанамово окончательно убьет

и остальное мое здоровье, так как я там не буду иметь ни малейшей возможности получить хотя какое либо медицинское пособие, и наконец я не чувствую за собой никаких причин, по которым мне нельзя было бы позволить проживать в городе, так как податей и недоимок за мной нет и во все время своего недавнего пребывания в Иркутске я решительно ни в чем не замечен, в удостоверение чего ссылаюсь на Полицейское Начальство.

Прошение это по случаю болезни доверяю подать дворянину Иосифу Казимировичу Сокольскому.

Политический ссыльный
Викентий Краус
Жительство имею
Иркутской губернии
Деревня Шанамово

Ноября 12-го дня
1870 года

Глава седьмая. Шанамово

Теперь оставалось только ждать ответа на прошение.

Весной, когда стало тепло и почти свелся к нулю риск заморозка, Викентий самостоятельно, правда при направляющей помощи Лукерьи, неумело засадил огород, но, видимо, природа любит новичков: урожай получился приличный. Лукерья, возлюбившая ссыльного за его внимание к ее родному языку — он уже мог с ней обмениваться бытовыми фразами на бурятском, — охотно помогла ему сделать на зиму запасы солений, и сейчас, наколов дров, потом растопив печь, он сварил себе картошки, поставил на стол соленые огурцы и помидоры, на тарелку выложил остатки вяленой рыбы.

Окно, разрисованное морозом, пропускало неровный, но, казалось, какой-то очень чистый и свежий свет; печь, потрескивая, грела; над горячим картофелем пританцовывал едва заметный парок... Это ли не покой, думалось ему, ведь как посмотреть на мой нынешний день, можно ведь изменить ракурс, глянув под иным углом, и увидеть, что судьба, поместив меня в эту глушь под охрану, а не под негласный надзор (он усмехнулся), дала мне время здесь, в тиши, стать самим собой... Мог ли я еще лет десять назад предположить, что буду вести вечерние разговоры со старой буряткой и радоваться, что эта сморщенная женщина, прочерненная жестким солнцем своей простой жизни, завороченно слушает стихи Пушкина, любовь к которым передал мне дорогой мой далекий друг Курт?

Мог ли я предположить, что в двадцать пять лет стану мечтать поселиться не в Варшаве, не в Вене, а в далеком сибирском Иркутске?

Мог ли я еще раньше, в детстве, когда с отцом мы ловили рыбу на Припяти, представить, что через годы на моем столе будет лежать вяленый лещ (лещ?) из реки Аха-Гол?

Вспомнилось, как сначала было весело закидывать удочку, ждать, замирая, глядя на поплавок, что вот сейчас... сейчас... сейчас она, глупая, заглотит приманку, забьется, пытаясь сорваться с крючка. Но когда первая его рыбешка, маленькая, с черно-серебристыми плавниками, мучительно пытаясь освободиться, затрепетала и, снятая им с крючка, брошенная на дно бадьи, подпрыгивала и билась на полу, а возле ее рта, хватающего воздух, краснела ягода крови, он не выдержал и, выхватив ее из бадьи, бросил обратно в Припять.

— Уже не выживет, — сказал отец, — большие рыбы съедят.

— Выживет, — сказал он, — выживет.

Больше он никогда не рыбачил, но пока летние дни не кончились, все ходил к Припяти и, вглядываясь в ее волны, то сглаженные солнечными лучами, то взбуряженные ветром, все ждал, не покажется ли в воде спасенная им рыбешка — ребенку верилось: Его Рыба выглянет из воды, улыбнется ему, и на ее белых губах уже не будет пугающе красной ягоды... Однажды ему показалось: это сверкнула хвостом и подпрыгнула над волной она!

Рыбу до каторги он никогда не ел. Но тело, истощенное тяжелой работой в Петровском заводе, заставило снять детский запрет души — и здесь, в Шанамове, Краус в охотку обедал пирогами с рыбой, приготовленными Лукерьей. Всю жизнь одинокая, Лукерья до сих пор споро колола дрова, лучше всех в Шанамове находила грибы, не боясь уходить в одиночку в далекий лес и обходя опасные торфяные места по только ей одной известным узким тропам, сама и ловила рыбу по-мужски ловко, сама и вялила, сама и пекла с рыбой расстегаи. И сейчас, глядя на лежащую в миске рыбешку, он грустно думал, что, выдержав главное испытание, не умерев, выжив, не предав, сохранив душу живой и, как издавна велось в их роду, жаждущей не злата, а слова и дела, он не выдержал этого мизерного испытания... Впрочем, оправдывал он себя, — а крохотная рыбешка уже выросла в его сознании до символа беспомощности человеческого духа перед требованиями материи — и Христос был вынужден накормить народ рыбой.

* * *

Вечером того же дня к нему приехал Сокольский.

— Вы не охотитесь, Краус?

— Нет.

— Тогда я брошу у вас свои городские вещи и поброжу с ружьем по окрестностям. Только про то, что оно у меня есть, никому. Мне дал его Оглушко.

Они познакомились с Сокольским недавно, как раз через Оглушко: врач, затребовавший от Курта перехода в православие ради женитьбы на своей дочери Полине, был весьма лоялен к другим ссыльным — по всей видимости, причиной отсрочки бракосочетания явились совсем не различия в вере, а бедность Курта.

У Оглушко поляки получали необходимые свидетельства о своих подлинных, а нередко и мнимых болезнях, что давало возможность добиваться у губернского начальства существенных послаблений — со всеми членами врачебной комиссии Оглушко был на коротке: некоторые, несмотря на седину на висках, увивались вокруг его дочери — сибирской красавицы, с другими Оглушко играл вечерами в клубе в вист или в бильярд, третьих лечил, — и врач порой нуждается в помощи, а репутацию Оглушко имел лучшего лекаря Иркутска.

Сокольский и Романовский нередко обедали у него. Пригласил он к столу и приехавшего к нему из Шанамова Крауса. Время было еще утреннее, не обеденное, потому гостям прислуживавшая горничная предложила печенье и чай. Полина была на службе: с осени она вела уроки чистописания в первом классе Девичьего института, где и сама ранее училась — в Петровский завод приехала после его окончания.

Сокольский был неказист: небольшого роста брюнет, щуплый, сутулый, почти горбатый. По его отражению на выпуклом боку попыхивающего самовара ползла горячая капля. Обитал Иосиф Казимирович в Иркутске уже третий месяц, получив позволение на постоянное проживание в городе благодаря свидетельству Оглушко о необходимости лечения его застарелой болезни легких, застуженных во время кандалного

пути. На фоне ровесника Крауса высокого красавца Романовского, тонкие черты породистого лица которого несколько противоречили его крупным плечам борца, тридцатилетний Сокольский выглядел, конечно, не старым, но — потухшим, и только когда он говорил, в его глазах загорался живой желтый саркастический огонек.

Оглушко снимал квартиру из пяти комнат в центре города: из окна его кабинета была видна Крестовоздвиженская церковь.

— Вы, Викентий, по дороге обязательно подойдите к собору: удивительной красоты церковь, — говорил он, отпивая чай, — лучший образец сибирского барокко. И византийский в ней колорит, и что-то восточное, мы же Азия, Монголия-то от нас — рукой подать... А мне собор почему-то напоминает Малороссию. Сам я родился здесь, правда, не в Иркутске, а в Тобольске. Сейчас в Англии, милый друг, возникло общество психических исследований, какая-то дама внезапно заговорила на совершенно ей дотоле незнакомом итальянском языке, и профессор, не вспомню сейчас его фамилию, из статейки в петербургском журнале, утверждает, что дама просто в прошлой жизни была итальянкой и в ее глубинной памяти сохранены о прошлой ее жизни воспоминания. Читая, я, признаться, несколько романтически написанное восприняв, тут же подумал: не объясняется ли и моя сентиментальная любовь ко всему малороссийскому памятью, но не о моей предыдущей жизни, в сие мне, как, впрочем, и в бессмертие души, откровенно говоря, верится слабо, а памятью моего отца о его детстве и юности в Малоросии, дед мой по матушке, тоже в Тобольске рожденный, уехал на родину предков, а после, уже с сыном, возвратился в Сибирь, то есть постоянными отцовскими воспоминаниями, доступными моей психике, благодаря моей сильнейшей к отцу привязанности, он, к счастью, жив и здоров, но не в Иркутске проживает, а в Красноярске, привязанностью, вполне возможно образующей между нами канал связи, подобный речному? Видите ли, я — в определенном смысле идеалист. Что не очень, казалось бы, вяжется с моей медицинской деятельностью, но тем не менее я сторонник психического доминирования над физическим, хотя и считаю, что психическое без физического исчезает...

— Как-то, Иван Иннокентьевич, в *paruszenie* логики идут ваши рассуждения, — усмехнулся Сокольский, — вы когда прочитали сию статейку? *Dwa dni temu?*

Все у Оглушко говорили по-русски: Романовский и Краус легко и свободно, Сокольский — хуже, смешивая русские и польские слова.

— Не более того.

— И не *zaromnieli* фамилию упоминаемого в ней профессора...

— Запомню. Верно.

— А тут же утверждаете, что *może jak by pamiętać wspomnienia* даже не собственно-го отрочества, а отрочества вашего уважаемого батюшки! Где же логика?

— Иосиф, вы заглушаете вашей иронией тонкий ход мыслей Ивана Иннокентьевича, — вступил в беседу Романовский. Даже когда он говорил вполне мирно, его тонкие брови выделяли над высоким гладким лбом такие пируэты, что казалось — Романовский сердит. — Короткая память о фамилии и память, живущая в глубине человеческой души, не одно и то же.

А он, однако, не глуп, подумал Краус. Хотя, как утверждал Курт, полный прохвост.

— Мне, господа, пора откланяться, — сказал он, — сожалею, что не смогу дослушать вашу интереснейшую беседу, но сегодня же хочу вернуться в деревню.

— Очень жаль, — Оглушко встал, чтобы проводить гостя до двери, — подождите, не спешите, я должен вам кое-что передать, — он ушел в свой кабинет и тут же вернулся, держа в руках конверт. — Ваш друг вложил запечатанное письмо, адресованное вам в послание к Полине, опасался, что до деревни оно может и не дойти, но дочь разрешила мне передать его вам.

* * *

«Дорогой мой сибирский друг, — по-русски писал Курт, — ты будешь удивлен, но я бесконечно тоскую не только о Полине, с коей надеюсь скоро соединить судьбу, но и о наших с тобой беседах. Я пишу диссертацию, тема ее, как ты, можешь догадаться, — „Пушкин и декабристы“. Я и сам похож на декабриста Кюхельбекера! И вот исследуя письма Пушкина и еще вполне свежие воспоминания о нем, я убедился: великий поэт, Бог русской словесности, был против декабрьского восстания! Он был также против революций, ибо считал, что все попытки изменить общество обречены на поражение, покуда человек не изменил самого себя.

Но есть одно прозрение, не вошедшее в диссертацию, однако жаждущее, чтобы я оным поделился: Пушкин был настолько выше и умнее светского общества, что вынужден был прятать свою душу и ум от него под маской, используя в свете постоянное лицедейство, руководимое главным законом, им сами над собой установленным: „Нечего метать бисер перед свиньями“, и все воспоминающие рассказывают о маске, но никак не о его подлинной душе, приписывая ему свои низости и свойства своей мелкой природы.

Это был великий дух, из тех, что спускаются на землю, наделенные особой миссией. Миссия Пушкина — сделать русских, язык коих бесценное богатство, народом Слова.

Конечно, и наш с тобой бунт, Викентий, Пушкин назвал бы бессмысленным... Но я, несмотря на мою огромную любовь к нему, более того, вопреки моему нынешнему чувству, которое подтверждает мне его правоту, ни о чем не жалею. *Za naszą i waszą wolność!*

Напиши мне, мой друг, не пренебрегая самыми мельчайшими подробностями, часто ли ты бываешь у Оглушко и как ты находишь Полину. Здорова ли она? Незаметны ли в ее лице следы тоски? Вся моя жизнь только в ней».

* * *

Церковь, и верно, была удивительно красивой: по ее карнизу между оконцами стелилось каменное кружево, плетеные каменные детали и все узоры были искусны и почти сказочно гармоничны, отчего вся церковь показалась Викентию овеществленным образом рождественского сна.

И он опять ощутил в себе жажду жить.

Из приоткрывшихся церковных дверей вышел высокий иерей в душегрейке поверх рясы, черный подол которой чуть колыхался на фоне ярко-белого снега. А за попом — рыжеволосый человек, торопливо надевающий на улице меховую шапку и запахивающий пальто.

Краус с удивлением узнал в нем отданного под суд за неразрешенную начальством помощь арестантам офицера с каторги — Потапова. Значит, к счастью, жив. И, видимо, отделался каким-то не сильно строгим наказанием. Подойти?

Но Потапов уже скрылся в зимней дымке за поворотом.

Глава восьмая. Красноярск, 1915 год

Андрея в доме Шрихтеров нашла не Муса Ярославцева, а ее сестра Наталья.

Открыла ей Эльза, Андрей как раз говорил с только что осмотревшем жену врачом Паскевичем: мучившаяся уже несколько месяцев непонятным недугом Эльза отека-

ла, словно ее кожу изнутри надували газом, как шар, на котором недавно пролетал над городом воздухоплаватель Крылов. Но Паскевич, который ее лечил, никаких нарушений ее внутренних органах не находил.

— Думаю, это нервное, — говорил он Андрею, — знаете, я лечил женщину, теряющую зрение, оттого что ей тяжело было видеть нелюбовь к себе своего мужа... А недавно был у меня среди пациентов солдат, потерявший рассудок, едва ему сообщили об отправке на фронт. Как только его признали к военной службе негодным, он выздоровел и, представьте, взял кредит и уже открыл магазин скобяных товаров.

— Я верю вам, доктор, что это нервное. Но как можно объяснить ее отеки?

— Она в них как бы прячется от душевных ран.

— К тебе дама! — крикнула Эльза.

— Андрей, где вы были? Я к вам с горькой вестью. Не хочу вам рассказывать все тяжелые подробности, иначе заплачу, — торопливо войдя в комнату, где беседовали Андрей и Паскевич, заговорила Наталья, — о, доктор, и вы здесь!

— Я ездил в Иркутск, мама моя недомогала, но, к счастью, все обошлось, — сказал Андрей. — А вы, я вижу, знакомы?

— Печально знакомы, — Паскевич потер очки. — Если бы сослали Бударина не в Сибирь, а в Ялту, может быть, все было бы иначе... Очень жаль, хороший был человек.

— Николай говорил, что те же слова о спасительности Ялты произнес, отправляя его в Сибирь, полковник Говоров. На самом деле именно здесь самый здоровый климат, просто организм Николая был уже подточен. А насчет его достоинств вы правы! Я мало знала Бударина, но успела полюбить: честная, чистая, гордая душа! И представляете, на похороны успел приехать его брат, есаул, мы смогли телеграммой сообщить ему о болезни Николая, о том, что он очень плох, хотя они ведь были идейными врагами, но Юрий сумел через это переступить. Был он в Красноярске всего один день и сразу в Петербург, а оттуда — на фронт. И Муся уехала с ним, хочет найти место учительницы гимназии в Петербурге... А мне нужно возвращаться в Пензу.

— Бессильная власть, бессмысленная война, боюсь, что Россию ждет катастрофа. И не нужно бы отсюда уезжать, здесь безопаснее и можно избежать войны... — проворчал Паскевич.

— Сын нашей домовладелицы мадам Шрихтер ушел добровольцем на фронт.

— Нигде не есть безопасный! — В комнату вбежала Эльза. — Когда война, нас с немецкий имя нельзя жить в России!

Она зарыдала.

— Успокойтесь, Эльза, дорогая, — Паскевич, приобняв, повел ее в другую комнату.

— Он погубил моя жизнь в эта Сибирь!

Впервые Андрею подумалось: а ведь и Эльза страдает.

— Я, собственно, пришла, к вам с очень важным делом: все написанное Николаем осталось у Муси, она увезла рукописи с собой, но несколько своих рассказов Николай, умирая, попросил передать вам.

— Мне? Почему?

— Он сказал, что верит: именно вам удастся их сохранить и, возможно, впоследствии издать.

— Как странно, — сказал Краус, — до моего отъезда в Иркутск, именно в тот день, когда познакомился с Будариним, я, уходя от вас, Наташа, зашел в книжную лавку Кузьмина, увидел там романы и стихи красноярских авторов и подумал, что хорошо было бы издать книгу Николая.

— Успокоилась, слава богу, — сказал вернувшийся Паскевич очень тихо. И спросил уже громче: — Я расслышал, вы говорили об издании произведений покойного Бударина, так?

— Да, да! Николай просил передать несколько его рассказов Андрею.
 — Но я совершенно не знаю, как к этому вопросу подойти...
 — Нужно найти заинтересованного книготорговца, он подскажет.
 — Я понимаю... Видел в лавке Кузьмина и книги местных авторов.
 — Ну Бударин-то был не сибиряк, он же родом из таманской станицы, так что здесь на местном патриотизме вряд ли удастся сыграть, — сказала Наталья.

— Но если рассказы того стоят, думаю, любой издатель возьмется за их публикацию. Ну, разумеется, исключая таких православных издателей, как Кузьмин. Я с ним знаком и хорошо знаю семью его сестры, она замужем за потомственным священником Силиным. Семья очень талантливая. Спектакли ставят в селе, все музицируют, кто-то из Силиных, то ли дядя, то ли брат, обучается в Петербургской академии художеств...

— Я видел племянницу Кузьмина в книжной лавке, девушку лет пятнадцати, — сказал Андрей и, чтобы скрыть волнение, внезапно закашлялся, тут же сам удивившись, почему разговор об этой семье вызвал у него непонятное смятение чувств. — Но... от церкви я далек. Отец мой был римско-католического вероисповедания, родился и вырос в Галиции. Сослан был за Январское польское восстание 1863 года и остался в Сибири.

— И я к церкви не близок. Просто состою в лекарях-друзьях хорошей семьи. — Паскевич улыбнулся. — А видели вы, наверное, Юлию... Симпатичная особа, не по годам развитая, причем во всех смыслах. Фореля читает «Половой вопрос», Маяковского любит, знаете такого поэта? Он в столицах известен, а у нас, в глуши сибирской, о нем еще мало кто слышал. Но Юлия — умница У них в роду, кажется, тоже был кто-то из сосланных в наши края по несогласию с властью. Только значительно раньше... Кстати, вы в курсе, что некоторые вернувшиеся после амнистии поляки горько разочаровались? Об этом даже писали. Видите ли, были и такие родственники, которые совершенно не радовались возвращению законных наследников, они даже наняли дорогих адвокатов и постарались доказать свои права на их землю. И вот не получив родительского наследства, кое-кто из бывших ссыльных вернулся обратно в Сибирь.

— Я знаю о таких случаях от отца... Но многие не выдержали каторги и ссылки, и если и остались в Сибири, то на кладбище.

— Как Николай Бударин, — вздохнула Наталья.

— Но отец мне рассказывал и об очень причудливых польских судьбах, например, сослан был в Сибирь белорусский пан Огрызко, смертный приговор ему заменили бессрочной каторгой, но сибирское начальство, легко идущее на послабления, из Нарыма его отпустило на волю, и он тут же, буквально в течение нескольких лет, сколотил приличный капитал, не знаю уж, каким видом торговых сделок он занялся, но сумел купить себе имение под Иркутском, имеющее теперь у местных жителей весьма мрачную славу: говорят, освобожденный с каторги пан так жестоко истязал свою прислугу, что все от него сбегали, а одна юная горничная умерла, и ее призрак бродит вокруг старого дома, пугая прохожих...

— Ну, сами понимаете, не мне, медику, верить в призраки. Но история, даже ежели это обычный мешанский оговор, несомненно интересна как иллюстрация человеческой психологии.

— Особенно для писателей! — засмеялась Наталья. И тут же, погрузнев, добавила: — Только Николая Бударина она бы не заинтересовала: он писатель-реалист.

— Вы не правы, — возразил Паскевич, — Бударин бы пропустил историю о призраке, но показал жестокость бывшего польского шляхтича... Вполне революционный сюжет.

Краус, испытывающий чувство вины перед Будариним, которого не сумел проводить в последний путь, решил прочитать его рассказы в тот же вечер.

* * *

Эльза уже спала.

Роза Борисовна Шрихтер, крупноногая и грузная, внизу гремела посудой: в связи с отъездом единственного сына на фронт она невзлюбила Крауса, и, возможно, действительно за его чисто немецкую фамилию (Эльза была в чем-то права) — и он не сомневался, домовладелица создавала шум в этот поздний час намеренно. Впрочем, мадам Шрихтер и сама была не Ивановой, потому могла просто справедливо негодовать, что ее мальчик ушел под пули, заявив ей: «Не могу сидеть дома, когда идет война и видишь все ее ужасы», а двадцатипятилетний ее жилец и не думает отправляться воевать.

Вернуться в Иркутск? Но Эльза изведет его мать! Впрочем, можно ведь и там снять квартиру. Но была теперь и еще одна преграда в его душе для возвращения в Иркутск...

Внизу закрипела дверь, потом погасла керосиновая лампа в кухне, отбрасывавшая причудливые пятна на кусты в палисаднике, — Краус по этим отсветам всегда определял, улеглась ли домохозяйка. Когда она засыпала, точно исчезало какое-то тяжелое невидимое полотно, покрывавшее весь дом, становилось вольнее дышать и, что странно, даже дыхание спящей Эльзы делалось легким и едва слышным. Отец рассказывал, что, в отличие от материалиста Паскевича, его близкой знакомый врач Оглушко стал в конце жизни весьма интересоваться магнетизмом, непонятными психическими феноменами и передачей мыслей на расстоянии... Возможно, душа мадам Шрихтер отправляется во сне из красноярского дома на родину предков в забытое местечко Могилевской губернии, откуда выдворили за какие-то мелкие махинации ее отца, ставшего в Красноярске уважаемым часовщиком и, почив, удостоенного проникновенного некролога в местной газете. Прошлое человека в Сибири никогда не определяло отношения к нему: судили о нем лишь по его сибирским делам. Да и к национальности относились иначе, чем в России: любой, пожив здесь лет пять, становился сибиряком, и его корнями никто не интересовался. Только война вдруг вызвала настороженность к носителям немецких фамилий, которых здесь немало: через дорогу дом Бергов, недалеко от них Гроссы... Да нет, мадам Шрихтер и в самом деле просто негодует, что Андрей здесь, а ее сын — на фронте. Ведь до его отъезда на фронт домовладелица была к Краусам очень расположена, даже не выказывала недовольства, если им не удавалось заплатить за квартиру в срок. И тогда еще невидимое полотно ее тяжелых беспокойных мыслей не окутывало дом. Верно говорил отец: «Философия обычного обывателя есть всего лишь отношение его к миру и к людям, обусловленное исключительно его личным опытом и посредством стороннего знания о сем опыте определяемое».

Вот Бударин явно не был заурядным человеком: вырос в благополучной семье станичного грамотного казака, Наташа успела рассказать Андрею семейную историю Бударина еще в прошлый раз — ей оказалось с ним по дороге. Родной дядя его по матери был полковником, казаком-дворянином, сам Николай учился на математическом факультете Петербургского университета, брат-есаул выбрал извечное казачье поприще... Заставил Николая Бударина стать большевиком несомненно не личный опыт, а — привлекавшая его революционная идея. Ее усилило витающее в воздухе общее недовольство одряхлевшим русским царизмом, спустившее в народ, пьяно распеваящий про царицу и Распутина гнусные частушки. Впрочем, частушки могли сочинять и революционеры. А некоторые идеи распространяются как инфлюэнция. И столь же заразы. Но... власть в России действительно уже не соответствует времени.

Он открыл одну из тетрадей Бударина. На первой странице не было заголовка, видимо, начало повести или рассказа не здесь; а часть текста была написана карандашом, оттого чуть стерлась.

«Кого называют основателем Петербурга, победителем шведов, учредителем русского флота, просветителем России?»

*

«Наступила оттепель...

На этой дороге мне знакома каждая впадинка, каждая проталина...»

*

«— Взяли ее от Панаевских. Девка молодая, девчонка совсем, понятия какие, а тут анжинеры.

(Какие-то слова и даже фразы он не смог разобрать и, читая, пропускал...)

И они напоили ее, раздели, что называется. Тьфу! Всю ночь. А ведь ей что синичке. На ладонь поднять можно. Два борова.

— Ну и что же?

— Что да что— и загубили жисть.

— Убили?

— Что там убили, образованный народ. Сама убила.

...

— Что же поделаешь? Они забрали силу.

— Тоже судья, купленный им. А если бы нашему брату, о-го-го, и не пикнули бы...»

Нет, похоже, в этой тетради черновик. Бударин был уже в таком состоянии, что мог случайно передать Наташе не те записи. Он открыл другую тетрадь:

«Звонили ко всеобщей. Сначала в Воскресенском соборе ударили в большой ступодовый колокол, и вздрогнули черные кедровые в церковной ограде, посыпались гроздь узорчатого снега, и далеко за молчаливой рекой в волнах темной тайги утонул протяжный вздох могучаго великана. Спеша откликнуться, заволновался звонарь на колокольне Успения, потом присоединился надтреснутый бас большого колокола Троицы...»

«Как огромные птицы со звенящими крыльями, стаями пронеслись над крышей тягучие звоны; слышно было, как реяли они около домово́й трубы и глухо стучались в закрытые ставнями окна...»

«Затихал, медленно умирая, вечерний звон...»

Глава девятая. В Иркутск

На основании Высочайшего повеления 9 января 1874 года Викентию Краусу были возвращены права прежнего состояния, удачно подоспевшие бумаги подтвердили его дворянство — за годы бумажной волокиты то ли границы губерний слегка поменялись, то ли вышел какой приказ, но теперь он был приписан к дворянам Каменец-Подольска.

Но еще ранее обязаны были применить к нему Высочайшее повеление закона от 17 мая 1871 года, пункт первый: помилование как осужденному несовершеннолетним, восстановление в прежних правах состояния, прощение со снятием полицейского надзора и разрешение на поступление в государственную службу, — ведь в 1863 году ему было только девятнадцать. Но и на этот раз все застопорила волокита хитрой российской бюрократической машины, поставившая под сомнение распространения сего закона на ссыльного вследствие того, что в марте 1864 года ему исполнилось двадцать лет. И хотя это было явное нарушение, доказать его Краус и не брался: уже опытные в этих делах Романовский и Сокольский сразу объяснили ему бессмысленность борьбы: решить вопрос могла только отсутствующая у ссыльного

крупная сумма, то есть взятка, и привели в пример Яна Черского, который, проходя кандалной дорогой через Тобольск, откупился пятью золотыми монетами, которые мать зашила ему в подкладку пальто, от Благовещенска и попал в Омск: оборачиваясь своей ржавой стороной к просителям, механика споро и ловко служила своим чиновникам.

И он принял решение — ждать.

К этому времени он уже три года жил то в Иркутске, получив ответ на свое прошение, что проживание в городе ему разрешено на периоды, необходимые для лечения — периоды эти с готовностью удлинял Оглушко, — то по-прежнему в Шанамове.

Теперь он переезжал в Иркутск окончательно и прощался с занесенной снегом деревней, пока Оглушко подыскивал ему квартиру, хозяин которой мог бы пустить неимущего постояльца, не только не запросив денег вперед, но на первое время — в долг, пока уже тридцатилетний Викентий Николаевич не поступил в Иркутске на службу или не нашел учеников — учить детей местного купечества иностранным языкам тоже был вполне для него приемлемый вариант.

Он прошел по деревне, спустился к реке по вытоптанной тропе. По берегу тянулся караван сугробов, покрытый плотной снежной коркой, точно белой искристой попоной, невдалеке с крутой горы катались местные дети, хохоча, они что-то кричали друг другу, а те, что постарше, озорничая, опрокидывали то одни, то другие салазки, скидывая маленьких раскрасневшихся наездников в снег.

За эти годы он привык к деревне, иногда с удивлением отмечая в своей душе даже теплые чувства к ее единственной длинной серой улице, протянувшейся вдоль Аха-Гол, и к старой бурятке Лукерье, лицо которой, как дерево, становилось все темнее от времени, а морщины все глубже.

Местные историей своей деревни совсем не интересовались, и на его расспросы о первых поселенцах только подозрительно шурились и качали головами: а кто, мол, их знает, откудава мы здесь. Они жили только в «сейчас», не добираясь в памяти далее своего деда или прадеда; и сперва такое их равнодушие к родовому прошлому показалось ему признаком духовной темноты, но позже, отбросив банальный взгляд, он увидел другую причину: забывая далекие поколения, они, наоборот, инстинктивно уходили от совсем иной темноты — мрачной здешней истории, полной распрей, военных столкновений и ненависти к пришедшим с Русского Севера чужакам (деревню и основали северяне). А прадеды и деды их жили здесь уже вполне мирно, буряты, сойоты и русские стали заключать браки, перемешались, и в деревенской общине с того времени как бы установился тайный, но беспрекословный запрет на проникновение в то прошлое, что грозило разрушением этого деревенского лада.

Рассказал об истории Шанамова Краусу священник соседней деревни, у которого он порой бывал, маленький сухонький отец Андриан, очень мягкий по характеру и по-стариковски словоохотливый, в отличие от своих немногочисленных прихожан, знал он свой поповский род до начала XVII века: один из его предков с Русского Севера, не видевшего крепостного права, дойдя до Забайкалья, основал вместе с другими служилыми людьми Шанамово, сын его подался в дьячки, а внук дьячка досрочно добился благочинного.

— В те-то времена Бог и власть в Сибири неразрывны были, — говорил отец Андриан, летописуя сибирское прошлое, — не казак споры разрешал, а церковь.

За несколько дней до отъезда в Иркутск Краус зашел к нему проститься: старик ему нравился, располагала к себе по-матерински ласковым обращением и жена его Анна Карповна, учившая деревенских детей грамоте.

— Во исполнение слов Господних «плодитесь и размножайтесь» в округе вон их сколько народилось, — старик улыбался гостю, а его маленькая старушка накрывала на стол, — а своих-то нам Бог не дал. Так сим просветительским делом вечно и заняты...

— Отведайте варенья клюквенного, — угощала попадья, — небось в Иркутске не будет такого вареньица, вот и оладушки к нему, можно и со сметанкой.

Согревала хорошо небольшой дом справная печь с красивыми сине-белыми изразцами, выписанными из Кяхты еще отцом старого священника, иереем в том же приходе, в печи плясал огонь, вздыхая и потрескивая, жаловались на свою участь дрова, со стены взирали на сидящих за круглым столом старинные деревянные часы, время от времени не боем, а хрипловатым клокотанием отмечая еще один прошедший час.

— Радуюсь я вашему освобождению и возвращению права прежнего вашего состояния, Викентий Николаевич, но скорблю душой об вашем отъезде: скрашивали вы редкими своими беседами с нами глухое наше житье, скучать мы будем по вам с Анной Карповной, иногда уж приезжайте из Иркутска нас проведать... — провожая гостя и завертывая ему в дорогу в белый платок оладьи и печенье с ягодой, старики всплакнули.

Краус наклонился и неожиданно для себя поцеловал вытирающей свои глаза старушке теплую морщинистую ладонь.

* * *

Лукерья в день его отъезда натащила ему солений в туюсках, принесла пироги, жареное мясо, сушеные грибы..

— Не помешает, — говорила она, и все сутилась, сутилась, мельтешила возле стола, перекладывая, увязывая, завязывая, и бормотала, бормотала, — кто там сготовит? Там и мастериц-то таких днем с огнем не сыщешь, все барыни городские, хоть и кухарки, они и засолят — пересолят, и зажарят — пережарят... Хоть первые денечки сытый будет... Его-то благородие ведь, как и я, грешная, сирота...

Краус не отказывался: Лукерья права — как там сложатся первые его дни в Иркутске, кто знает. Конечно, отобедать он всегда мог у гостеприимного Оглушко, но деревенская пища на ужин не помешает.

— Спасибо, спасибо, Лукерья, — проверяя, все ли тетради и книги взял, благодарил Краус, — без меня вам полегче будет, не нужно никому чужому готовить, верно?

— Тяжелше будет. — Она остановилась посередине комнаты, взмахнула почерневшими жилистыми руками. — Меня ведь в деревне сильно не любят, раньше даже в дом не пускали, не все, правда, а самые дуры-бабы: подкидыш я, старуха-шаманка Манзан меня на пороге своего дома нашла младенчиком помирающим, выкормила, вылечила, а после ея супротивник, лама Багаев, его тут все знали...

— Слышал я о нем.

— ...померший годков пять назад, прогнал старую шаманку, мол, она наслала болезнь, сгубившую тогда семь мужиков деревни, а следом напустил на людишек глупых морок, что и меня нужно гнать, раз она меня нашла на своем пороге. Хотела я уйти с Манзан, но она сказала: «Оставайся. Твой дом здесь». Так и прожила одна свои годочки: ни отца, ни матери, ни мужа... как приبلудная собака. Благодаря вам лишь человеческое отношение к себе узнала.

— Да вроде в деревне люди незлые, как мне за эти годы увиделось, отчего они Багаеву поверили?

— Манзан тоже говорила: незлые. Но всегда добавляла: только люди они — пока дети, а потом выедает из их нутра человеческое их тяжелая земляная доля — в землю оно и уходит, куда уйдут и они.

— Иногда дети злы...

— Это когда в рост пойдут. Я сама, как пошла в рост, стала старую Манзан обижать. Отчаяние меня охватывало, что ни родителей, ни кола ни двора и что лицом не удалась. А она терпела, говорила, так бабья сила в тебе пробуждается, и приказывала: как почувешь в себе отчаяние — пляши!

И старая Лукерья внезапно закружилась по комнате, все быстрее, все быстрее, быстрее, она взмахивала поднятыми вверх коричневыми руками, рукава ее кофты спали с острых темных локтей, подол ветхой юбки плескался, то открывая, то снова закрывая худые венозные икры, отплясывающие, точно ржавые гвозди дождя, в разношенных заплатаанных валенках, и кружилась, кружилась, кружилась...

* * *

Уже близок был Иркутск, но не получалось радоваться освобождению, жалобный напев полозьев сейчас навевал унылые думы. В этой забытой Богом деревеньке осталась мягкая зимняя тишина, серая избенка, встречавшая его днем, когда он возвращался с прогулки, приветливыми шорохами и поскрипыванием половиц, но печально вздыхавшая ночами, когда он начинал погружаться в сон, осталась бурливая непокорность Аха-Гол и его — за эти годы в тишине вечеров — тысячи раз заново прожитое прошлое.

Моя ли это была жизнь?

Прошлое отпустило его и, уходя, забрало с собой не только его юность, кудрявую Вольнь, так и не ответившую на его письма Ольгуню, романтические порывы, но и тихий гостеприимный приют на берегу Аха-Гол двух стариков и заботу Лукерьи...

Мог ли представить двенадцатилетний гимназист, кидающий камушки в Припять, что он, потомок рыцарей, баронов и обнищавшей, но гонористой шляхты, будет через восемнадцать лет ехать по глухой сибирской дороге и думать не о юной графине Скаржинской, в которую была влюблена вся окружающая бедная шляхта, а о старой, слегшей после танца бурятке и о доброй, по-матерински заботливой маленькой русской попадье?

Не сплю ли я? Тогда, помнится, накидавшись камушков, я заснул на теплом зеленом берегу Припяти. Может быть, все снится мне до сих пор: и киевские жандармы, и кандалы, и суд, и страшный арестантский путь в Сибирь, и занесенное снегом Шанамово, где лежит сейчас в одинокой постели бурятка, сморщенная, как печеное яблоко?

Он полудремал и видел ее: изможденная, с побелевшим лицом, она, внезапно перестав кружиться, застыла и через минуту, ни слова не говоря, покачнувшись, пошла к дверям.

Вокруг посверкивали при лунном свете бесконечные снега. Снег, снег, снег, снег... Он сверкал ледяными кристаллами на бесконечном пологие, серебрил меховую шапку и полушубок возничего, леденил серебристыми искрами повлажневшие щеки.

Курт как-то говорил, что тайна русских — в дороге... В их любви к дороге... Русский не просто едет от одного города в другой, он расстается с самим собой прошлым, со своей болью, обидами, бедой, — уезжает один человек, а приезжает другой. Благодаря дороге, Викот, они меняются, как Протей, но когда их путь преграждает опасность, все русские сливаются в один океанский шторм или превращаются в снег, в коем, мой друг, и замерзли бедные французы. Снег и лед та же вода...

— Ты — поэт, Курт.

А я?

Кто я?

Моя жизнь только начинается... Пусть с опозданием, но годы каторги и ссылки многое изменили во мне. Каким я вступил в тайное общество Рудницкого? Я был тогда заносчивый и неуверенный в себе, поверхностный и легковверный, пусть и не глупый, но поддающийся чужому внушению восемнадцатилетний юноша, жаждущий на любого произвести впечатление и более всего опасующийся дурного или насмешливого людского мнения. Прыщик вскочит на лбу — я уже стыжусь, иду по Киеву самы-

ми пустынными улочками. А пережив позор и поражение, арест, унижение и отчаяние, пережив тычки и грубые окрики конвоиров, став отверженным и презируемым, пережив себя, закованного в кандалы, я ныне смотрю на себя и на мир совсем иначе: если не верить в Бога, жизнь — это мыльный пузырь, на дрожащей поверхности которого мы существуем всего лишь миг, пока он не лопнул. Так стоит ли этот миг душевных страданий о чьем-то глупом мнении о тебе? Если же в Бога верить, меняется не суть, а только материал: Бог-стеклодув создал этот стеклянный шар, и прежде чем соскользнуть с него в бездну, мы пытаемся из-за суеты сует красиво отразиться в гладком зеркальном стекле... Ключ к истине в приоткрытой библейской тайне: Иисус — образ Бога. Но созданные Им по собственному образу и подобию, мы тоже творцы, и пусть не всем дано создать новые образы, но сотворить за краткий миг жизни иной собственный — человек способен...

— ...Выйдя из этой игры иллюзий победителем, Викот.

— Ты здесь, Курт?

Как бесконечен этот сибирский снег...

— Нет, Викот. Пока ты один, и впереди у тебя неизвестность. Тебе не страшно?

— Не страшно, Курт. Я ныне уже совсем другой. И меня изменило не обычное взросление, а прожитая мной жизнь в жизни, переплавившая, как в тигле, мое жалкое прежде самовлюбленное «Я» в нечто, пока еще не принявшую определенную форму. Но о какой победе ты говоришь?

— О победе над навязанной тебе ролью пораженца.

— Ты прав. Я недавно понял, что поражение может быть только внутренним. И его вообще не существует, если ты, как актер, меняешь образы своего «Я». Понимаешь, Курт, я сейчас донашиваю прежний костюм — обноски потерпевшего крушение. Я его сброшу вместе с прежним образом, как только приобрету новый.

— Я рад, что ты не из тех, кто тянет за собой воз прошлого через всю жизнь.

— Да, к счастью, я не из тех. Но мне недостает тебя, Курт. Ты навечно в моем сердце.

— Глянь на на поверхность стеклянного шара, Викот, я помашу тебе рукой.

В полудреме он поднял глаза к небу: по темно-синему полотну проскользила белая узкая носатая тень с шеей цапли...

* * *

Утром в Иркутске он сначала пошел в польский костел Успения Пресвятой Девы Марии, прихожанами которой были еще повстанцы, попавшие в Сибирь после Ноябрьского восстания 1830 года. Он часто видел оставшихся в Сибири трех гордых стариков-братьев, по слухам, пока они были в ссылке, имение одного из них отобразила дворянская родня и споро продала немецкому капиталисту, потому старику некуда было возвращаться, а младшие братья остались с ним. Сын одного из них уже служил в костеле диаконом.

— Еще в начале века доминиканцы прислали в Иркутск трех римско-католических священников, — рассказывал Оглушко во время очередного обеда, — и что удивительно, господа, в этой странной Сибири им было назначено содержание за счет казны! А за доминиканцами приехали в Иркутск монахи-иезуиты. Здешний римско-католический приход был тогда огромен: Иркутская губерния, якутские земли, или, как сами якуты называют, земли Саха, а ссыльные католики все прибывали и прибывали, вот и вы, панове, здесь.... — Он грустно усмехнулся. — И не менее удивительно, что здесь, в Сибири, католический приход тогда оказался самым большим в мире — так велика была Иркутская губерния!

— Нынешний настоятель отец Кшиштоф Швермицкий тоже ссыльный? — поинтересовался, скрывая ладонью зевок, красавец Романовский и глянул украдкой на Полину. Краусу в его взгляде почудилось что-то двусмысленное.

— Да, разумеется. Он из нашего брата ссыльных, из варшавского монастыря Ордена марианцев, видите ли, нашли у него запрещенные книги! Три года он здесь пробыл, и ему разрешено было вернуться в Варшаву, но представьте, панове, он отказался, ездит не только по губернии, но и в Якутск, Николаевск-на-Амуре, Благовещенск — для исполнения духовных треб ссыльным католикам. Удивительно благородный и скромнейший человек: и католическая школа, и приют для сирот и детей польских ссыльных — его личная заслуга!

— Вы бы здесь остались, Викений Николаевич, — Оглушко внезапно повернулся к нему, — ежели бы вам соизволено было прямо сей миг вернуться на родину?

Он растерялся и не ответил. Спас от неловкости подвыпивший пан Сокольский, вдруг заговоривший о богатстве Якутского края.

— Золото там, панове, под ногами валяется, с приисков воруют инородцы, sprzedają gosjanom, продают русским, на том многие и наживаются. Między innymi, пан Боровский, после нерчинской каторги занимается золотодобычей, уже имеет собственные прииски, а пан Хмелевский записался в иркутские купцы...

— Хмелевский женился на дочери нерчинского купца, наполовину якута, — сказал Оглушко, забыв о своем вопросе.

— К якутам в юрту страшно зайти, — сморщился желтоглазый Сокольский, спина которого, скрючившись еще сильнее, уже упиралась в затылок, — грязь невероятная. Мне приходится jeździć do nich в качестве управляющего делами купца Бутина... Кстати, ему требуется учитель немецкого, вы ведь, Краус, австриец?

— Моя мать полька, из рода Лисовских, польский и немецкий — мои родные языки.

— Так замолвить о вас словечко Бутину? Вам ведь, jak wiem, даже за квартиру нечем платить? У пана Витковского były takie same trudności.

— Буду вам благодарен.

— Помню, как славно я поохотился у вас в Шанамово... Чудные места. И эта brzydka, ваша уродливая бурятка чисто содержала дом.

— Зато к торговле эти якуты весьма способны! — сказал Оглушко, раскуривая трубку. — А их детишки — к арифметике.

— А грамоту większość... большинство их освоить nie mogą!

— Не скажите, пан Сокольский, — вдруг подала реплику обычно молчавшая за обедом Полина, — у меня в Девичьем институте воспитанница-якутка, отец ее богат и платит за дочь, она очень-очень способная девочка и такой каллиграф!

— Мы с вами, пани Полина, на педагогическом поприще, но вы еще не знаете, какой я тонкий каллиграф, даже представить не можете! — захохотал Романовский. — Особенно в деликатных вопросах!

— Могу представить, пан Романовский, — Полина зарделась, — вы во всех отношениях личность незаурядная!

Краус не выдержал: он стерпел, когда Сокольский назвал Лукерью уродливой, но этого красавчика пустозвона хвалит невеста его друга!

— И ваш жених, пани Полина, Курт фон Ваген тоже личность выдающаяся!

Романовский насмешливо на него глянул, но тут же ответил вполне серьезно:

— О Вагене я остался самого лучшего мнения.

И точно белая носатая тень проплыла по голубым обоям гостиной.

— Так я завтра скажу о вас Бутину? Он сейчас живет в Иркутске, niedaleki от пана Оглушко.

— Да, пан Сокольский, я буду ждать...

* * *

Костел был небольшим, деревянным. Сразу вспомнилась деревянная церквушка отца Андриана, считавшего католиков раскольниками, что не мешало старику возлюбить заблудшее дитя — Викентия Крауса.

Лицо ксендза, пана Швермицкого снова показалось лицом из детства: мелькнули глаза отца, серо-голубые, всегда смотрящие куда-то вдаль, детская книжка о развалинах Рима, он забыл и автора, и название, память просто мгновенно перелистнула страницы, полные изображений руин и профилей цезарей, и любимый игрушечный медвежонок в конфедератке.

— Преподобный отец, мне позволено жить в Иркутске!

Глава десятая. Иркутск

От Курта давно не было писем; последнее пришло еще в Шанамово: влюбленный в Пушкина Ваген раскопал в каком-то из русских источников, что в 1727 году прибыл в Иркутск поручик Абрам Петров, арап Ганнибал для строения Селегинской крепости. Викентий вспомнил об этом сейчас, идя к Бутину, и улыбнулся, представив среди белых сибирских снегов чернокожего офицера русской армии, отправленного сюда ради защиты границ Российской империи от угрожающего желтого Китая. «В этом, Викот, вся Россия», — наверное, сказал бы сейчас Курт.

Купец первой гильдии Михаил Дмитриевич Бутин, о роскошном дворце которого в Нерчинске знали и судачили все, и здесь, в Иркутске, имел дом на Большом проспекте, протянувшемся от реки Ангары до мелкой речушки Ушаковки и своей почти идеальной прямизной обязанном возведенному на этом месте в том же 1727 году оборонительному палисаду, после улучшения отношений с Китаем ставшему более ненужным. Все это рассказал хорошо знающий историю Иркутска Оглушко, вызывающий у Крауса восхищение и своими знаниями в разных сферах, и своим благородством: он постоянно помогал, как мог, всем ссыльным полякам и всегда бесплатно лечил детишек русской и бурятской бедноты. Как-то Оглушко рассказал, что его прадед попал в Сибирь как деятель Барской конфедерации, выступавшей против вмешательства России во внутренние дела Речи Посполитой. Конфедерация в результате военных действий русских потерпела поражение, и попавших в плен конфедератов, а было их почти десять тысяч, лишили в сех прав состояния. Кое-кого из них сослали в Нерчинские рудники, большинство отправили казаками в Томскую и Тобольскую губернии, где очень многие из них женились на сибирячках, перешли в православие и даже взяли русские фамилии. Среди них был и конфедерат Оглушко, вступавший в брак с тобольской девицей Глафирой Менделеевой и увезший ее через несколько лет в Малороссию. Правда, родовую фамилию он гордо сохранил. А отец Оглушко приехал в Сибирь уже по своей воле.

* * *

Иногда, особенно в летний полдень, Иркутск своим красивым видом так сильно начинал напоминать Викентию Киев, а река Ангара — Днепр, на берегу которого он единственный раз целовал нежные губы Ольгуни, что начинало щемить в груди... Matka Boska, но ведь это иллюзия, зачем она мучает мое сердце?

Большая (так обычно в разговорах называли проспект) пестрела вывесками магазинов, бирж извоза, питейных заведений, часовщиков, ресторанов и граверных мастер-

ских. Вечерами улица чудесно освещалась фонарями: по ней прогуливались иркутские дамы и господа, а утром сновали мальчишки-разносчики местных газет. За проспектом открывалась роща, а над вершинами деревьев высилась узорчатая Крестовоздвиженская церковь.

И внезапно он ощутил, что все это в его жизни уже было: он шел к Бутину, парили кресты над еще не оперившимися ветвями, из дверей магазина Трапешникова вышел отданный под суд за послабление больным ссыльнокаторжным нерчинский офицер Потапов... И когда из дверей магазина Трапешникова вышел Потапов, не удивился: неожиданное чувство спокойствия, какого он не знал с той поры, как примкнул в Киве к тайному обществу Рудицкого, в этот миг воцарилось в его душе. Потом, вспоминая, он скажет: тот день был днем судьбы....

А Потапов уже скрылся в одном из проулков.

Бутин, высокий человек лет сорока, встретил Крауса приветливо: он охотно брал бывших повстанцев к себе на службу, понимая, что они не только исполнительны, но и обладают неплохим образованием. Учить немецкому нужно было не детей, их у миллионщика не было, а его самого. Удивив Крауса, Бутин признался, что уже неплохо владеет французским и английским — он недавно вернулся из длительной деловой поездки по Америке.

— А вот немецкий пока не знаю.

На его мягко удлинённом русском лице неожиданно смотрелись узкие азиатские глаза.

— Какое-то время я побуду в Иркутске, могу быть учеником вашим каждый день недели, по вечерам, а потом уеду в Нерчинск, там вы сможете пожить у меня, думаю, на само место и на жалованье обид у вас не будет. Воскресенье — день без трудов. В Иркутске пока я обедов не даю вследствие отсутствия моей экономки, а в Нерчинске буду рад видеть вас за своим столом каждодневно.

* * *

На этот раз у Оглушко не было Романовского, зато вместо него появилось новое лицо — Анна, полноватая миловидная девушка с коричневыми круглыми глазами, как выяснилось, приятельница Полины: отец Анны служил в канцелярии Девичьего института.

— Особенность российского бытия — вечное *naruzenie* права, — витийствовал Сокольский, поглядывая на девушку и прерываясь порой на тяжелый кашель, — вот мы, ссыльные поляки, по закону не имеем права ни репетиторствовать, ни содержать аптеки, ни заниматься медицинской практикой, *zabronione*... запрещено иметь нам и свои литографии, нельзя нам торговать вином, золотобычей заниматься, а уж чиновничьи места запрещены особо. Но именно всем этим ссыльные и *urawiac!* Иордан и Вартынский служат в золотопромышленных компаниях, у Кароля Паевского уже своя аптека, Поклевский стал винторговцем... Многим, конечно, пришлось *stać się łatwiejsze*, то есть, как вы говорите, пан Оглушко, опроститься: Ковальский — портной, Повинский — сапожник... Не всем так улыбается фортуна, как вам, Викентий Николаевич, — он засмеялся и закашлялся, — за хорошее вознаграждение учить языкам миллионщика Бутина — мне уже донесли: вы ему *przypada do gustu*... пришлось по душе.

— Улыбается благодаря исключительно вашей помощи, Иосиф Казимирович!

— Насчет законов, пан Сокольский, вы правы: их не нарушаете, а умело обходите, — маленькое, но существенное уточнение! — не только вы, ссыльные, но и любой, возжелавший чего-то существенного в своей жизни здесь добиться: ну, сами посудите, не глупо ли запрещать культурным ссыльным учить детей тем же иностранным языкам? — Оглушко снял очки, протер платком и снова надел.

— Государственные чиновники боятся przekonanie... внушения ученикам свободомыслия, — Сокольский зло усмехнулся. — Россия — вечная тюрьма.

— Ну про Сибирь я бы так не сказал, — возразил Оглушко, — доведут каторжан до столба с надписью «Сибирь», они думают: все, конец, ад. А здесь и арбузы растут, и золото, и воля... Просто люди живут представлениями, верят в них и от сей веры страдают. Умный человек обходит ведь не законы, Иосиф Казимирович, а заостеневшие представления, некоторые из коих превратились в законы в заостеневших мозгах. Вот противоположный пример: Бутин. Умнейший человек нашего времени, я не раз оказывал лечебную помощь его сестре, пока она не вышла замуж за какого-то скрипача-венгра, Бутин очень любит музыку и выписал его себе в качестве учителя, а он, хитрец, проскочил в зятя; когда я бываю в Нерчерске, я пользуюсь, с позволения Михайло Дмитриевича, его огромнейшей библиотекой на четырех языках. Недавно прочитал в журнале его «Письма из Америки»: умный прогрессивный взгляд настоящего русского патриота, стремящегося лучшие достижения других народов переосмыслить и умело использовать в интересах своего государства. Так вот, Бутин для успешности своего дела любой закон так умело развернет, что ни один чиновник не опровергнет.

— Все до поры до времени, пан Оглушко! В России każdy nowy dzień, nowy. Проснешься — и не знаешь, в той ли ты стране и кто ты в ней сам. А вы вросли в сибирскую почву, оттого и znaleźć здесь хорошее, а не дурное. Мне же сия почва вредна! — Сокольский, точно черепаха, втянул голову в печи. И добавил: — Хотя иногда на ней и произрастают такие цветы, как наши urocze panie!

Все заулыбались.

Вышли вместе: Сокольский, Краус и Анна.

— Мне даже воздух местный противопоказан, — заговорил снова Сокольский, — и когда Романовский пошутил, что именно здесь, в Сибири, naszą wolność, я жестко потребовал извинения: святые для нас, повстанцев, слова так извращать насмешкой! Он, конечно, przeprosić. Легкий и podatny человек. Таким верить нельзя. Иногда смотрю на него — точно одна красивая картинка, а папирос внутри нет. И ловкач. Вот жениться надумал, пока имя невесты держит в тайне — небось wyłowić какого-нибудь золотопромышленника за хвост в лице его дочки...

Он поравнялись с Московскими воротами.

— И ампир ненавижу, — Сокольский снова закашлялся, — и всю их русскую имперскую важность, не при вас, Анна, будет сказано, но przepraszam, такой уж я правдолюб! Вот читайте: «Сии градские ворота воздвигнуты в 1811 году Магистратскими членами по случаю всерадостнейшего дня восшествия на высочайший престол Государя Императора Александра Первого». Высочайший престол! У них! Он у нас, у поляков. Все величие этих русских царей с немецкой кровью, не при вас, Краус, будет сказано, — wumysł, фикция! И законы, ими принимаемые, действительно ни одной моей папиросы не стоят! Или от давности или неверного хранения сгнивший табак или fałszowanie. Оглушко, кстати, требует, чтобы я бросил курить. Да никогда! В марте 1861-го уже Александр Второй издал указ, как бы вернувший нашей многострадальной ojczyznu автономию, вы увидели wolność?! Никто ее не увидел. Kłamstwo!

— Кое-что все-таки было, тогда я этого не понял, но сейчас, по прошествии лет, могу оценить здраво: был восстановлен Государственный совет и выборное местное самоуправление всех уровней.

— Фикция! Простите, Анна, что задеваю ваши patriotyczne чувства! — Сокольский прошил девушку желтым взглядом. — Позволяю вам заступиться за родину!

— Я ее просто люблю.

— Чисто женский ответ всегда побеждает! Верно, Викентий Николаевич? Вы-то как ввязались в восстание с вашими рыцарскими przodków?

— Я уже говорил: моя мать из рода Лисовских герба Любич. И вы забыли Курта фон Вагена: он чистый немец, но полюбил Варшаву всем сердцем.

— А после изменил ей с Полиной Оглушко, то есть с Россией! — Сокольский усмехнулся. — Заберет он ее под свою тевтонскую пядь! Он вам пишет?

— Давно не было писем.

— Небось воруют на почте, конверты вскрывают и дома всей семьей читают письма вслух — такое изысканное лекарство от *tutejszej* скуки.

— Пока все письма от него доходили.

— ...Хотя охота здесь хороша и Байкал, нет слов, как прекрасен. Бриллиант природы.

— Сейчас наш Ян Черский, влюбившийся в Сибирь, составляет геологическую карту Байкала с описанием всех прибрежных районов озера, даже самых малых. Я слышал, как раз Бутин эту работу и материалы для нее оплачивает.

— Я знаю Черского, он живет недалеко от нас, на квартире у Ивановых, — сказала Анна, — мне он очень нравится, такой занятный, всегда куда-то бежит, никого не замечая.

— Ученые все такие, — в голосе Сокольского прозвучали ревнивые ноты. — Он у вас бывал?

— Нет, не бывал...

Анна оказалась девушкой чуткой и намек поняла.

— Позвольте вас пригласить к нам, — расставаясь с мужчинами у ворот своего дома, сказала она, как-то обещающе улыбнувшись смутившемуся Краусу, — в субботу к шести вечера.

— Я русских ненавижу, — переходя на польский, сказал Сокольский, когда девушка скрылась в дверях. — Посмотрите на городских обывателей — карты, пьянство, плутовство.

— У каждого народа есть выдающиеся личности высоких устремлений, но низкий человек у всех народов низок.

— Правда, девушки их чудо как милы, будят во мне охотничьи инстинкты... Закурю!

Глава одиннадцатая. Красноярск 1915 год

Разбирать записи Николая Бударина было трудно из-за его беглого нечеткого почерка, мешали и правки: Бударин часто зачеркивал написанное, иногда возвращался к показавшемуся ему неудачным отрывку, но, переписав, мог его перечеркнуть снова. Андрей уже не сомневался: ему достались черновики, и как с ними следовало поступить, он не знал. В тишине дома, когда носатая хозяйка переставала греметь посудой, ругаясь вслух и перемывая кастрюли за нерадивой приходящей кухаркой, а Эльза уже спала, наплакавшись, как ребенок, и в очередной раз обвинив Андрея в своей несчастной судьбе, он просто разбирал и переписывал страницу за страницей. Рассказы Бударин писал в тоненьких ученических тетрадях, все они оказались семилетней давности, на что указывал напечатанный на задней обложке календарь с выделением жирным шрифтом дней праздничных и высокаторжественных и отдельно, чуть ниже, дней неприсутственных:

1908 г.

Июль.

22. Тез. Ея Имп. Вел. Вдовств. Гос. Импер. Марии Феодоровны

30. Рожд. Его Имп. С. Насл. Цес. и Вел. Князя Алексея Николаевича

Август.

- 6. Преображение Господне
- 15. Успение Пресвятой Богородицы
- 29. Усекн. глав. Св. Иоанна Предтечи
- 30. Перенес. мощ. Св. Благов. вел. кн. Александра Невского

Сентябрь.

- 8. Рожд. Пресв. Богородицы
- 14. Воздвиж. Честн. креста Господня
- 26. Св. Апостола Иоанна Богослова

Октябрь.

- 1. Покров Пресвятой Богородицы
- 5. Тез. Его Имп. Выс. Насл. Цесар. И Вел. Кн. Алексея Николаевича
- 17. Чуд. Спас. Царск. Семьи от опас.
- 21. Восшествие на Престол Его. Имп. Вел. Го. Имп. Николая Александровича

Ноябрь.

- 14. Рожд. Ея Имп. Вел. Вдовств. Гос. Императрицы Марии Феодоровны
- 21. Введ. во храм Пресв. Богород.

Декабрь.

- 6. Св. и Чуд. Николая. Тез. Его Имп. Вел. Гос Имп. Николая Александровича
- 25—27. Рождество Христово.

Кроме тоненьких ученических тетрадок, был еще прямоугольный большой, обшитый бордовой тканью блокнот с коричневой сургучной печатью, из которой торчали черные нити, точно усы конвоира, и надписью: «В этой тетради прошнуровно, пронумеровано и казенной печатью скреплено сто восемнадцать (118) листов. Заведующий политическим отделением Московской Центральной Пересыльной тюрьмы. Подпись». Андрей вспомнил: о данном Бударину разрешении заниматься писательским трудом упоминал отправляющий Андрея в Сибирь полковник Говоров.

Тюремные записи начинались незаконченным стихотворением «Мгновенье», написанным под модного поэта Бальмонта, но с надсоновским надрывом:

Перед нами море плещет,
И, усталое, зловеще
Под луною гривой блещет,
И вздыхает, и трепещет.
....
Я тогда свои страданья,
Плач души, ее стенанья...
...
Надо мной склонились тени
Жгучих дум. И яд сомнений...

За стихотворением следовал черновой рассказ:

Виталий Константинович нервно шагал по комнате, держа в руке письмо. Далеким и страшно дорогим вяло от маленьких листов бумаги, исписанных неровным женским почерком. «Неужели я никогда не вернусь?» — с тоской, с ужасной тоской шептал он.

Следующее предложение было зачеркнуто, Андрей, не разобрав его, стал читать дальше и, переписывая, ставить вместо непонятных слов или фраз многоточие, надеясь вернуться к ним и разобрать позже, а сомнительное или пропущенное слово сопровождал вопросом:

Ни огня кругом. Прииск замер. Полярная ночь. Керосиновая лампа под белым абажуром освещала кипы газет, книг, (две?) трубки морских карт. У кушетки на квадратном куске войлока лежал (...) сеттер.

Заскрипели полозья саней: Катон озабоченно поднял голову и зарычал.

В. К. чувствовал, как рвется (...) его связь с миром, что остался среди шумной жизни столицы. Здесь он один. Никого кругом. Только Катон...

Шумно отворилась дверь, и (...) ввалился Сергей Петрович, приисковский врач.

— Ну вот, так я и знал, — протирая *rinse-pez*, проговорил он, «Л» выговаривая (?) как «оу», — заняты самосозерцанием, (погружением?) в глубины индивидуализма. Углубление — хорошая штука, но нельзя же уподобляться некоему зверю, что спит в своей берлоге сейчас. — С. П. не хотел видеть мрачности хозяина. Он тонул в море собственного благодушия. — И при том нужно быть хотя бы минимально вежливым. Вы обещали быть сегодня у А. Б.? — Нет, категорического обещания не давал. — Ну это неважно. Вас ждут там... — Я не поеду. — Что за глупости. Все собрались... и... и... — доктор запнулся. — И Ольга Петровна просила вас тащить, если вы будете упираться. — Ну какого черта я поеду — тоску на всех нагонять! — Ну и упорный же вы молодой человек... Вас ждут. — Доктор подчеркнул (?) последние два слова и многозначительно взглянул на В. К.

— Ты не надо ехать! Нет куда ехать! — Андрей побледнел от неожиданности: на пороге комнаты возникла проснувшаяся Эльза. Она непрерывно повторяла: — Ты не поеду! Ты не поеду! — В своей прозрачной ночной сорочке она сейчас походила на дрожащий мыльный пузырь, выдуваемый медиумическим ночным кошмаром.

— Я куда не собираюсь, Эльза, — стал успокаивать ее он. — Тебе, наверное, что-то приснилось?

— Ты лгать мне всегда! Сюда ехаль доктор Паскевич и звал ехаль к ней! Он есть в шкафу! — Эльза кинулась к дубовому шкафу и стала выбрасывать на пол из него одежду. Не обнаружив в шкафу доктора, она упала на пол и зарыдала.

Внизу раздались какие-то стуки и бормотание: проснулась мадам Шрихтер.

Все это было невыносимо: но не сама Эльза, сугробом застывшая на полу, была причиной возникшего у него тягостного чувства, а его мучительная именно для него самого, тяжелая к ней жалость.

— Эльза, — прошептал он, — прости меня.

Эльза внезапно поднялась с пола и, не глядя на него, вышла. Заскрипела кровать, потом затихла. Хозяйка внизу затихла тоже. Все связано в нашем мире невидимыми психическими нитями, подумал он, мы все сообщающиеся сосуды: что там вообразил о своей исключительности этот бударинский... как его? Виталий Константинович? Ницшеанец, наверное...

Опасаясь, что Эльза, уснув, снова случайно попадет в рассказ, он решил дочитать его позже, но все-таки из любопытства заглянул в конец:

По хребтам Вандана, по утесам Корчугана, по долине Енашимо раскинулась тайга. Захватив миллионы квадратных миль, спала тайга, неподвижная, строгая, в сербристых покровах снега. Среди холмистых отвалов высоко поднялись элеваторы, как могильные склепы, чернели занесенные метелями овраги (?)..

На следующее утро Эльза не встала с постели. Не встала Эльза с постели и в день следующий. Когда приехал доктор Паскевич, она повернула к нему отекшее лицо и сказала: «Вы есть лгать мне всегда. Моя будет умереть».

* * *

В книжной лавке Кузьмина сидела монахиня. Андрей для виду полистал книжки, не вдумываясь даже в названия. Помещение пересекал косой свет из треугольного

окна под потолком: оно наполовину, по диагонали, было заделано. Свет высвечивал часть лица неподвижно сидящей монахини, ее морщины и широкую темную бровь, и Андрею показалось, что когда-то с ним все это уже было: жужжащий за низкой дверью город, косой свет в небольшой книжной лавке, белое пятно на застывшем лице морщинистой монахини. Время точно остановилось, чтобы — он ни на секунду в предчувствии не усомнился — открыть дверь и впустить в его судьбу Юлию, и когда она вошла, когда он увидел мгновенно обрисованный светом львиный профиль, а потом узкую спину и стройные ноги в светлых чулках — она повернулась к старой монахине и тихо что-то ей сказала, — все в нем сжалось сначала, точно пружина, а потом не резко, а медленно-медленно распрямляясь, стало наполняться каким-то светящимся звоном, и он знал: этот светящийся звон — она.

Глава двенадцатая. Иркутск

— Мы сегодня собрались не у любезного всем нам пана Оглушко, где были бы вынуждены говорить по-русски, а у меня, панове. — Романовский встал. — Хотя пан Оглушко — правнук польского конфедерата и отец моей невесты Полины, венчание состоится в следующий четверг, но героическую и трагическую для всех нас дату — день начала Январского восстания — мы должны с вами отметить, говоря только на своем родном языке. К сожалению, не смог быть с нами сегодня отец Кшиштоф, он сейчас в Охотске...

Гул тут же покотился из всех углов и, собравшись в тяжелый шар, оглушил Крауса: а как же Курт?!

Точно в гудящем тумане, до него долетали горячие слова говоривших, но не обжигали воспоминаниями о поражении, о страшном кандалном пути, о Петровском заводе: все это уже отболело в нем; тяжелое гудение горькой новости о венчании Романовского и Полины окружило его и оказалось сильнее памяти — боль за друга звучала в его сострадательном сердце, заглушая все взволнованные речи, сохраняя для слуха лишь обрывки фраз: ...гнусная газетенка требовала решительного подавления «ксендзо-шляхетского мятежа»... нас, шляхту, цвет нации, лишили всех привилегий в угоду интересов быдла!.. хватит оскорблять народ, пан Сокольский!.. партизанская война!.. вы ведь были из «красных», за федерацию, а я из «белых», я — за унитарную Польшу!.. И я за федерацию!.. опять распри! Мы все за одно — за независимость!.. мы не были готовы... Александр Второй обыграл нас, объявив раньше рекрутский набор... Польскую кровь им не смыть со своих знамен!.. проклятая дикая Сибирь!.. особо жестоко... палач Муравьев, губернатор Вильны!.. а как расправлялись эти звери буряты с нашими героями Кругобайкальского восстания!.. мать Черского лишена имения, всех прав, по старости лет приведена к самой крайности, бедствует... А Ян теперь патриот Сибири! Слышали? Он опять уехал и с ним Витковский!.. всепрошцы Лясоцкий и Свида лечат русских!.. если бы не сбежали диктаторы восстания Мерославский и Лангевич... Стефан Бобровский предпочел поражению гибель на дуэли... и ксендзы герои! А сейчас отец Кшиштоф общается с иереем Силиным и призывает к взаимному прощению!.. все-таки помогал нам Комитет русских офицеров в Варшаве, Каплинского я не видел, он был уже арестован, но поручик Потеня...

— Ненавижу православных попов! — выкрикнул Сокольский, и от его резкого прокуренного голоса Краус очнулся: где я? Что со мной?

— Господа, — Романовский снова встал, — религиозные различия не повод к ненависти! Мы все-таки благородная белая кость!

На миг вместо крючковатого профиля Сокольского мелькнул нависший лоб Рудицкого. В Сибирь докатились слухи, что он благополучно живет в Германии.

Нет, я больше не состою... не участвую... я свободен.

* * *

Полину он встретил возле Девичьего института.

Она была в «английском» костюме синего цвета и синей шляпке. Ее сопровождали две маленькие тоненькие институтки, пелеринки и фартуки которых тут же кокетливо заиграли на речном ветру. Ему показалось, что Полина стала походить на потерянную им Ольгуню.

— О, Викентий Николаевич, рада вас видеть! А это мои лучшие ученицы Аглая и Верочка Смоленцевы!

Девочки заулыбались застенчиво.

— Очень приятно. Но мне необходимо поговорить с вами конфиденциально! И срочно!

Полина быстро и тревожно глянула на него и, отправив учениц домой, пошла с Краусом рядом по Вузовской набережной.

— Вчера, будучи у пана Романовского, я узнал о вашем с ним венчании...

— Да, Викентий Николаевич, я выхожу за него замуж. — Полина приостановилась, смотря не на Крауса, а на сверкающую на солнце Ангару.

— Но... мой друг Курт фон Ваген... — Тяжелое гудение снова настигло его, но на этот раз он справился с невидимым его источником и сумел закончить фразу: — Много раз писал мне, что вы с ним помолвлены и что как только он закончит диссертацию, вы и он...

— Простите, что перебиваю, — Полина заговорила торопливо, не отводя взгляда от блеска речных волн, — но я желаю сразу расставить с вами все точки над *i*, хотя абсолютно не должна никому, в том числе и вам, давать отчета о своих чувствах, но вы друг моего отца и Курта, потому я прощаю вас за попытку ступить на территорию моей души, я была очень наивна и неопытна, когда дала согласие Вагену стать его женой, и мой отец был прав, предоставив нам долгий срок на раздумье и проверку чувств. То мимолетное чувство к Вагену у меня давно прошло, да и ему по-моему гораздо дороже меня его Пушкин! Он в письмах рассказывал мне только о нем! И я не стала его обманывать, написала все откровенно. Пока ответа от него нет, но он и не требуется: я уверена, Курт как благородный человек меня простит... Буду рада видеть вас в следующий четверг.

— Я не смогу...

* * *

Уроки с Бутиным иногда продолжались беседой. В его кабинете, заставленном китайской мебелью красного дерева, Крауса окутывало необъяснимое чувство защищенности, какого он не знал уже многие годы, а возможно, из-за ранней смерти матери и вечных тревог отца, не знал никогда. И сам хозяин, с интересом расспрашивающий его о родителях, о детстве, о Киевском университете, был не просто интересен и приятен ему как внимательный собеседник, не только, говоря прямо, воспринимался сознанием как источник очень неплохих денег, но задевая какие-то глубинные образы, прячущиеся в душе от дневного света и торжествующие победу ночью, разрастался в его восприятии, превращаясь из обычного человека, пусть и очень умного, образованного и предприимчивого, в человека-пространство, вмещающая в себя и полученный

Краусом от судьбы жизненный угол. Раньше в кошмарных снах бесконечно повторялись пережитые им муки и унижения: арест, грубость жандармов, боль от кандалов, тычки, окрики, его падение в снег от удара конвойного, но последние ночи в Шанамове принесли освобождение от кошмаров прошлого. И сейчас он видел себя во сне всегда в этом красивом кабинете сидящим в кресле недалеко от письменного стола, за которым что-то писал Михаил Дмитриевич. В реальности Бутин чаще садился напротив в другое кресло, не пытаясь подчеркнуть, что он хозяин, а Краус только наемный учитель.

Когда урок заканчивался и материал был еще раз повторен — а миллионщик все схватывал с лету, очень быстро, — они просто говорили. Сначала как малознакомые люди, еще не уверенные в том, стоит ли оторвать другому двери в дом собственной души. Бутин охотно рассказывал о своей поездке в Америку и о новых проектах: он был одержим идеей технического совершенства всех сфер сибирского производства. Краус уже кое-что знал и о его детстве, и даже о бутинском прапрадеде, найденном в списке служивых людей Сибири и о нерчинском прадеде Тимофее Бутине с окладом в семь гривен, а Бутин в свою очередь мог уже представить и Припять, и львовскую гимназию, учителей которой Краус всегда вспоминал с неприязнью, хотя и таил эти чувства в себе, и роковую встречу с Рудицким, и даже потерянную Ольгуню — о ней он упомянул мельком, но по особо внимательному взгляду интуитивного хозяина понял: Бутин о его несчастной любви, конечно, догадался. Но между ними еще не возник невидимый душевный канал: уже поселившись в бутинском пространстве, Краус был пока отделен от бутинских чувств обычной преградой отстраненности. Преграда пала и растаяла, как снежный городок, сразу и мгновенно благодаря старому священнику отцу Андриану. Краус просто упомянул его, рассказывая о своей жизни в Шанамове. Упомянул — и вдохнул, ощутив острую тоску о маленьком священническом домишке и о милой, доброй попадье. И этот вздох, вырвавшийся из его сердца, достиг сердца Бутина.

— Знаю его, он ведь моего отца крестил, — сказал он. — И недавно я был в Шанамове, предлагал старику поехать со мной в Нерчинск, он болен, отказался, куда, говорит, я без своей матушки. Ну и матушку заберем с собой. Так церковь-то и дом на кого оставим? Так и не поехал. У него там и дьячка нет. Попросил я побывать в Шанамове доктора Сvida и дал денег ему на лекарства. Свид тоже из ваших же ссыльных. Еще не видел его, он в Нерчинске, не знаю, съездил ли...

Краус хотел сказать, что самый лучший здесь врач, конечно, Оглушко, вот его бы отправить к старикам, но тут же вспомнил: Полина Оглушко в четверг венчается с Романовским. На вопрос: виноват ли в предательстве дочери ее отец, у него не было ответа, но и относиться к нему по-прежнему он уже не мог. И потому сейчас очень обрадовался предложению Бутина временно перебраться в Нерчинск.

— Отъезд через неделю. Все мои дела в Иркутске сделаны. Теперь сюда месяца через три, не ранее. Квартира для вас там уже готова: в ней жил учитель музыки. Я и этому научился, теперь на скрипке могу сыграть, будущей жене в усладу, — его узкие длинные смеющиеся глаза заполнили весь кабинет и, снова уменьшившись, вернулись под прямые темные брови. — Нерчинск моими стараниями стал красивее, чист, убран. И люди там неплохие. Меня уважают за отцовское к городу отношение... Вам, Викот Николаевич, понравится....

— Викот...

— Простите, я как-то исказил ваше имя.

— Случайно пропустив «н», Михаил Дмитриевич, вы назвали меня так, как всегда звал мой единственный друг Курт фон Ваген, повстанец, подданный Австрии... Сейчас он в Варшаве, дописывает научный труд о Пушкине.

- О Пушкине?
- Да. Это его Бог. Курт... золотое сердце... а его только что бросила невеста, дочь врача Оглушко.
- Знаю Оглушко и Романовского через служившего у меня Сокольского. Романовский — красавец, гроза женского пола.
- А Курт худой и носатый, похожий на цаплю...

Глава тринадцатая. В Нерчинск

Краус второй месяц квартировал у рантье Исаака Юсица на Морской; названием улица была обязана своему расположению: от нее начинался Заморский тракт, уходивший к Байкалу. В честь заключения договора между Россией и Китаем об установлении границы по Амуру на улице красовались Амурские триумфальные ворота с многообещающей надписью «Путь к великому океану». Другие комнаты в доме Юсиц сдавал ссыльному белорусскому дворянину Штейнману, брезгливому меланхолическому интеллигенту, вынужденному заниматься торговлей: в нарушение запрещения о перемещении ссыльных он, как большинство бывших повстанцев, беспрепятственно разъезжал по всей губернии. Третьим квартирантом был овдовевший старик Иван Селиванович Касаткин, коллежский асессор.

Утром в субботу к Краусу приплелся раздраженный Сокольский. Уйдя от Бутина, он утроился управляющим в контору купчихи Агапии Пантелеевой, и скупая работательница в который раз задерживала выплаты жалованья.

— Хуже русской купчихи нет тигра! — по-польски негодовал Иосиф Казимирович: в скрежетанье его голоса, в сутулой, почти горбатой тщедушной фигуре сегодня было что-то жалкое. — Когда наконец нам разрешат отсюда уехать?! Жить под пятой России, распнувшей нашу польскую гордость, не-вы-но-си-мо! Вот вы, Краус, все-таки какой национальности? Насколько помню, по отцу вы немец или австриец, родились вы в Галиции, а по матери поляк, но кто вам ближе — предавшие Польшу немцы или мы, многострадальные поляки?

— Называйте меня польским немцем, если вам так угодно. А мой выбор, по-моему, ясен: кандальный путь в Сибирь обозначил его лучше всяких слов и клятв.

— Я, собственно, вот по какому вопросу к вам явился, — Сокольский впечатался в кресло. — Мы ведь с вами не столь давно имели честь быть приглашенными девицей Анной Зверевой отужинать у них в субботу.

— Ее фамилия Зверева?

— Отец этой сибирской грации служит в канцелярии благородного Девичьего института, оттого хорошо знаком с Полиной Оглушко, а девица, его дочь по имени Анна, близкая приятельница Полины, оттого я о ней теперь неплохо осведомлен: несколько эмансипированная по характеру, но рукодельница, жениха пока на горизонте серьезного нет, хотя приданое имеется.

— Пан Сокольский, прошу вас не упоминать о Полине Оглушко при мне!

— Послушайте, друг мой, я понимаю вашу душевную боль за друга, но коварство женщин — одна из вечных тем литературы. Женщина — как... как Ангара. Можно ли доверять этой сибирской реке? Вчера была она тиха и приветлива, а завтра потопит баржу с товарами моей купчихи Пантелеевой, чему я буду, признаться, искренне рад! И заметьте, как и Ангара, в одном месте пригодная для омовений, в другом — опасная, так и женщина: второму своему управляющему, шельме Бавлицкому, ему даже каторги, как мне и вам, не выпало на долю, сразу сослали счастливику на поселение, так вот ему она платит исправно и гораздо больше, чем мне. И за что — думаете? За то

же, за что русская баба-царица возводила мужиков в графы! Про Пантелеиху, так ее зовут приказчики между собой, они же и говорят: ни одних штанов не пропустит. Но и благоволит потом. Видимо, и меня взяла на службу с дальним прицелом...

Краус глянул на него с сомнением.

— Но чтоб я, потомственный польский дворянин, ублажал врага, пусть и женского пола, никогда! Закурю?

— Курите. Я и сам иногда...

— И табак русский мерзкий.

— Я курю «Лаферм», очень приличные папиросы. — Краус достал жестяную коробку. — Угощайтесь.

— Понимаете, я люблю окутать себя дымом, как джинн, — Сокольский закурил и сначала закашлялся, а после засмеялся. — И погрузиться в себя, точно уйти обратно в лампу из сказки арабов.

Краус тоже засмеялся: истощенного, согнувшегося в кресле, окутанного кудрявым дымом папиросы Сокольского легко было представить в образе мстительного джинна.

— Так вы пойдете к Зверевым? Полины Оглушко сегодня там не будет...

* * *

Подумалось: такие тихие небольшие каменные дома, пережившие несколько поколений своих хозяев, подобны памятникам: вечность, зачем-то бросая на них свой взор, обращает в тени жильцов, сберегая застывшее время камня. Кто мы? Может быть, лишь камнерезы времени, жалкие рабы вечности, выбрасываемые за ненадобностью, едва очередной камень времени обточен... Сейчас бы Курт сказал: ты тоже поэт, Викот.

Одноэтажный пятиконный дом с мезонином и высоким крыльцом тихо прятался от прохожих среди кустов и деревьев сада в самом конце Большой улицы, недалеко от речушки.

В гостиной был уже красиво сервирован круглый стол, покрытый белой скатертью с восточным узором по краям, — в Иркутске он замечал азиатские мотивы повсеместно. Даже некоторые православные церкви неуловимо напоминали ламаистские храмы. В правом углу гостиной чернел рояль, а над ним в золотистом обрамлении выделялись среди маленьких пейзажей два крупных портрета Анны: на одном сходство было очень точным, на другом — не очень, и сначала ему даже показалось, что изображена другая, но спросить он не решился: подчеркивать неумелость художника передать сходство было как-то неловко — живописец вполне мог оказаться близким другом семьи. Девушка на втором портрете стояла возле березы, и Краусу понравилось тонкое кареглазое лицо на портрете, едва заметная улыбка и легкое летнее платье, кистью художника превращенное в белые каменные волны: от того, что Анна потеряла округлость лица и фигуры, она только выиграла.

Семья Зверевых встретила их с Сокольским очень радушно: пожилой седой хозяин Егор Алфеевич и его моложавая полноватая супруга Елизавета Федоровна, потчуют, расспрашивали гостей о их жизни в Иркутске, не касаясь больных тем: восстания, каторги и ссылки, — невольно выходило так, будто гости просто приехали в их родной Иркутск из другого российского города по доброй воле. После ужина подали чай, варенье, сладкие пироги и завитое печенье, чуть позже — шоколад в чашках и пышные эклеры, крем в которых оказался таким вкусным, что забывший о сладостях Краус съел два пирожных. Он сначала боялся выпадов Сокольского против России и всего русского, но то ли еда оказалась сильно вкусной, то ли останавливало желчного пана присутствие Анны, на которую он беспрерывно поглядывал, — но все обошлось. После чая Анна

сыграла полонез и польку Шопена, потом пела романсы ее мать Елизавета Федоровна, а Егор Алфеевич шепотом ей подпевал, сидя за столом и тихонько притопывая ногой.

— В мирной обстановке они, конечно, все не так плохи, — ворчал Сокольский на обратном пути. — Но крайне мне противно, что это добродушие победителей: Польшу разделили, как пирог, на три части, казнили и выбросили в Сибирь цвет нации! Хозяин — сочувствующий либерал, конечно, но вот Елизавета Федоровна весьма насмешливо на меня поглядывала!

— Вам все мерещится, ей-богу, Иосиф Казимирович. По-моему эта милая дама настолько далека от политики, что и представить не может точно, кто, что и когда разделил. А каторжан из дворян и ссыльных дамы обычно окружают романтическим ореолом... — Голос у нее красивый, глубокое меццо-сопрано, могла бы стать певицей. И стол был неплох.

— Никогда не пробовал варенье из черемухи. Оказалось удивительно ароматным. Такая ягода здесь произрастает в огромных количествах... залезут на дерево, как макаки, и едят...

* * *

Утром Краусу принесли записку. Прибежал рыжеволосый мальчишка — он видел его пару раз продающим на улице газеты — и выделил из других торгующих подростков из-за его умного, тонкого, неулыбчивого лица.

Видимо, Бутин предупреждает письменно о другом часе или дне урока? Но оказалось, нет, не Бутин. На пахнувшей какими-то цветами белой бумаге было всего несколько слов: «Жду вас сегодня в семь часов вечера у ворот в парк возле Девичьего института, Анна».

Когда он пришел, она уже ждала. Из-под легкой шляпки выбились пряди каштановых волос, лицо покраснелось.

— Написала вам, как в романе, — засмеялась она, — решила пригласить погулять. С вами так интересно, Викентий Николаевич, а здесь скучно... Моя младшая сестра уехала на неделю в Омск, чтобы помочь нашей тете, сестре мамы, перебраться в Иркутск... Вы не дадите мне папиросу?

Он достал портсигар, она закурила.

— Я думал, у вас нет ни сестры, ни брата.

— Ах, Боже мой, отчего же? У нас много родни. Правда, другая моя тетушка, сестра отца, живет в Великом Ногороде, отец там родился, дед-священник был переведен в Сибирь. А мама моя из дворян Смоленцевых, ее остальная родня здесь же, в Иркутске, а более дальняя — в Твери. Сама я родилась тоже в Иркутске и нигде не была, кроме Омска и Нерчинска. А Варшава, наверное, прекрасна?

— Прекрасна.

— А у нас так мало прекрасного: только Байкал-море и дворец Бутина в Нерчинске. Видели?

— Пока не видел. Но я сейчас учитель немецкого языка у него, скоро там буду.

— С нами в институте занимались воспитательницы, немка и француженка. Один день мы говорили только по-немецки, а другой — только по-французски. У нас отличные были учителя, географию преподавал сам Бернгард Петри. Правда, институт очень строгий. И дортуары холодные...

— Курить девушкам не разрешалось? — пошутил он.

— Что вы! — она засмеялась.

Они стали гулять по Иркутску каждый вечер. Краус угадывал, что Анна в него слегка влюблена и ее чувство усиливает иркутская мода на кавалеров из ссыльных.

Выйти замуж местной девушке за попавшего в Сибирь шляхтича считалось не только незаслуженным, но и очень престижным: таким девушкам завидовали подружки, сейчас весь город обсуждал свадьбу Полины Оглушко и блестящего Романовского. Романовский был не только красив, но и богат — то есть являлся воплощением счастливого окончания сказки о бедной простой девушке и полюбившем ее принце. Оглушко как широко практикующий врач не был ни простым мещанином, ни бедняком, но по сравнению с Романовским, которому досталось огромное имение покойного дяди-помещика, сочувствовавшего восстанию, казался серым воробьем рядом с павлином.

— Я на три месяца уезжаю в Нерчинск.

— А я буду скучать о вас, Викентий...

Красавцем, как Романовский, Краус, конечно, себя не считал, но видел: в глазах Анны он отражается вполне привлекательным вместе со своим потомственным дворянством, титулом, правда неподтвержденным, и неплохой головой на плечах. И ее мечты в круглых коричневых глазах отражались тоже: Анна видела в нем романтического героя, идеал жениха. Впрочем, она тоже нравилась ему. Любовь-песня осталась в прошлом, Ольгуня исчезла из его жизни, вихрь унес его в далекую Сибирь и ему же не верилось, что такой силы чувство, какое он пережил, может ворваться в его жизнь снова. Не посмотреть ли на свою жизнь трезво: одному тяжело и скучно, о возможности возвращения ходят смутные слухи, чего ждать бывшим повстанцам, никто не знает... Жениться на Анне? Хороший дом, и она сама образованная, миловидная, с ней интересно беседовать, это важно. Физическая тяга, естественная для одинокого молодого мужчины, проходит быстро, и если женщина глупа, можно от тоски застрелиться.

Но есть еще время подумать — пора собираться в Нерчинск: Бутин уже уехал и, посетив свои прииски и завод, добрался наконец до своего нерчинского дома, тут же сообщив, что ждет его. Нужно проститься с семьей Зверевых: Краус уже трижды обедал у них и не мог обидеть хозяев внезапным исчезновением.

Дом с мезонином улыбнулся ему своими окнами и, приветливо скрипнув ступенью высокого крыльца, впустил внутрь теплоты. А он так соскучился по свету родного окна....

Егор Алфеевич отсутствовал, встретила его Елизавета Федоровна, ее плечи покрывала мягкая пушистая шаль, усиливая впечатление исходящего от этого дома тепла.

— Девочки, — позвала она, отправляя, как ручного голубя, свой голос куда-то в глубины комнат, — к нам Викентий Николаевич.

Первой быстро вышла Анна, а за ней... за ней вышла девушка с портрета, висящего над роялем. Оказывается, художник умел передавать точное сходство.

Глава четырнадцатая. Красноярск

Эльза лежала уже третий месяц. В ее комнате воздух сгустился, пропитался запахом лекарств и, когда Андрей заходил к ней, тут же наваливался на его затылок и туманил зрение: видеть расплывающееся по кровати тело, когда-то удивительно изящное и ловкое в танце, было невыносимо. Сиделка, которую нашел Паскевич, приходила убирать только раз в неделю: на более частую ее помощь у Андрея, по вечерам подрабатывающего тапером в кинотеатре немого фильма, не было средств. Еще не так давно неплохие деньги давали уроки: он полгода был учителем музыки в женской гимназии, но внезапно его уволили без всяких оснований; он был уверен, что начальница женской гимназии обманывает, утверждая, что приходится сокращать штат учителей из-за смерти основного благотворителя, просто нашла ему замену, но, подумав, в этом засомневался: музыкантов с консерваторским образованием в Красноярске было очень ма-

ло, и они преподаванию предпочитали концертирование. Все объяснил Паскевич, когда Андрей рассказал ему о потере хорошего места: сейчас сложное время для лиц с немецким происхождением, Андрей Викентьевич, — война с Германией...

— Моя мать — русская.

— Так, помилуйте, кто это знает и кто поверит, даже скажи вы: судят по фамилии. Рабочие Путиловского завода только что устроили забастовку и потребовали убрать всех инженеров немцев и австрийцев. Старика у церкви, видели, наверное, его не раз, высокий такой, с огненными глазами, вчера арестовали: он говорил собравшейся толпе, что скоро императорская корона упадет, кстати, Лермонтова цитировал, видимо, не простой он старец, и предупреждал о море крови, в которой потонет Россия, то есть, надо понимать, о приближающейся революции. Я, разумеется никаким прозорливцам не верю, но вот жандармы поверили! — Паскевич усмехнулся. — Но кое-какие основания поверить в возможность переворота есть: в этом году девяносто лет с восстания декабристов, а чтобы зерно, брошенное в русскую народную почву проросло, нужно как раз лет сто... Знаете пословицу: русский долго запрягает, но быстро едет? Хотя для пугачевского бунта никаких предвестников-декабристов не потребовалось. Но все связано в этом мире, на одном конце страны свистнули, на другом — откликнулись. Вы думаете, откуда я узнал про забастовку на Путиловском? Лечу ссыльного, заболевшего туберкулезом, но не в той опасной форме, какой страдал Бударин. Кто уж ему сообщил и как — сия загадка велика есть. Но я не спрашивал: теперь, знаете ли, лишнее знание — лишний риск... Никто никому не верит. Вы, кстати, уже прочитали сочинения Бударина?

— Читаю, но медленно из-за трудного почерка. И вот что странно — с рассказами его у меня постоянно случаются необъяснимые совпадения: точно я сам попадаю в им сочиненное. Поверьте, это не причуды моей психики.

— Откровенно говоря, не понимаю, что вы имеете в виду? — Паскевич посмотрел на него пристальнее.

— Как раз то, что вы только что сказали: на одном конце страны свистнули, на другом — откликнулись. Моя жизнь как бы откликается на его мысли, на им написанное... Вот сейчас я открою рассказ, — Краус подошел к столу и взял тетрадку, — и начну читать с того места, на коем остановился: — «...Эти тревожные свистки...» Вот видите?!

— Обычное совпадение! А что там дальше?

— «Выползают во двор чумазые, готовые на все существа... Можно ли быть гарантированным от всяких возможностей, именно — от всяких? Но разве я испытываю страх? Не то, совсем не то. Они не поверят, никогда мне не поверят... Знаю, что там, среди них, делается серьезное и, может быть, даже очень большое дело, знаю, что оно направлено и против меня как представителя известного класса. Но так в чем же дело? — Павел Петрович остановился среди кабинета. — Творцы, черт возьми! Ну, возьмут они имущество, сожгут заводы...»

— Мрачная перспектива, — пробормотал Паскевич.

— Тут еще: «...есть-то они хотят. Хотят есть и их жены. И их дети...»

— Ты меня твоя жена морить голодом! — пронзительно закричала Эльза.

Краус побледнел.

— Так часто — я читаю, а она, как медиум, принимает... с некоторым искажением порой, но совсем незначительным. Сейчас я дам ей тарелку каши...

— Да, странно... Впрочем, медиумизм может вызывать hysteria. Ну а вы, наверное, сами для себя неосознанно выбираете из его рассказов подходящее.

— Я читаю подряд. И все, что происходит, происходит после моего прочтения, а не до него, вы же видите.

— Все-таки я склоняюсь к случайности.

— Пойду ее кормить. Эльза — мои кандалы. Вы счастливец, доктор, что холосты.
 — Да вот и я собираюсь связать себя брачными узами не позже осени.
 — Я бы сейчас, признаюсь откровенно, предпочел быть одиноким.. Если желаете, пока я Эльзу кормлю, можете почитать дальше, вот с этого места: «Я один. Я куда-нибудь уеду, в другой город, в другую страну. Я здоров, могу заработать себе... а они... Их тысячи...»

— Нет, я, пожалуй, пойду, мне нужно сегодня поспеть на окраину, в рабочие бараки, там женщина после родов, денег на больницу у семьи нет, лечу в порядке благотворительности... Их тысячи...

* * *

Паскевич ушел, Эльза уснула. Он сел за стол, достал портмоне, вспомнив: задолжал мадам Шрихтер; необходимо, пожалуй, прямо сейчас расплатиться, пока она не выставила на улицу вместе с больной женой; отсчитал сумму для хозяйки: на все оставшееся осталось мало, но что делать, придется отдать. Может быть, удастся найти ученика — он заплатил за объявление в газету, должно было появиться во вчерашнем номере, газету он купил. Что в ней? «20-го объезд по городу для сбора вещей на помощь пострадавшему от военных действий населению Царства Польского без различия национальности. Помогите, жертвуйте, что можете». Как бы отреагировал отец на этот призыв?

«Турецкий флот вследствие повреждений главнейших судов считается едва ли способным к бою в ближайшем будущем»

«Сегодня:

- Общественное собрание. Вечером — опера в 3 д. 5 к. „Демон“, музыка Рубинштейна.
- Общедоступный театр. Вечер — др. Сумбатова „Старый закал“. Нач. в 8 ч.
- Бесплатная библиотека. Г. Богданов прочтет о Германии. Нач. в 1 ч. Вечер. — пьеса в 4 д. Найденова „Дети Ванюшина“. Нач. в 8 ч.
- Дом № 28 Почтамтск. ул. (против магазина Штоля и Шмита). Лотерея-аллегри в пользу Красного Креста — на нужды больных и раненых воинов. Нач. в 12 ч. дня».

Подумалось грустно: богатых Штоля и Шмита никто не выгонит с работы за их немецкие фамилии.

«Нужна девушка для комнатных услуг, со стиркой белья на двух девочек. Александровская, 21, кв. Кюссе-Кюз». И мне б не помешала девушка для стирки белья...

«Нужна прислуга за одну в булочную Нечаевская, № 1».

«Классная дама гимназии готовит и репетирует учеников и учениц; знает французский, немецкий, Монастырская, 4, во дворе, во фл., наверху».

«Студ.-тех успешно готов. и репетир. за курс средн. уч. зав. Специально: матем., физ., нем. и франц. яз. Адр.: ул Черепичная, 35, кв. 2 (первая дверь налево)».

«Бюро переписки. Первая в городе практическая школа переписки на пишущих машинах разных конструкций по американскому „слепому“ методу...»

«Квартира. Освободились две комнаты и кух., водопровод, электрич...»

Это все не то. Где же мое объявление? Так, опять комнаты, еще бюро переписки, интеллигентная особа берет воспитывать детей, учительница французского... А вот оно: «Учитель с консерватор. обр. берется обучить детей игре на скрипке и на фортепьяно».

* * *

Роза Борисовна, получая деньги, всегда источала доброжелательность. И сейчас она, оторвавшись от обеда, приняла плату за жилье с нескрываемой радостью. На столе

перед ней лежала в окружении крупных картофелин целая вареная курица, посыпанная какой-то сухой приправой, но рассчитывать, что хозяйка пригласит его к столу, было бы наивно: она придерживалась жизненной философии простой и понятной: все, что невыгодно, — лишнее.

— Нет ли писем от вашего сына? — из вежливости поинтересовался он, но зря: мадам Шрихтер, тут же вспомнив, что ее дорогой сын на фронте, а постоялец отсиживается в далеком тылу, сняла с лица приветливость.

— Месяц не получала, мой мальчик был в госпитале, он получил Георгиевский крест! Вынес с поля боя раненого полковника, своего командира! Он в команде разведчиков!

Почувствовав себя жалким уклонистом, он пожелал ей приятного обеда и, поднявшись к себе, заглянул в комнату Эльзы: она спала, и левая ее нога, распухшая, белая, с синими извивами на икрах, вырвавшись из-под одеяла, свешивалась с кровати, точно Эльза собиралась встать, но передумала.

Неужели она передумала навсегда? Ведь Паскевич не находит никакой патологии, кроме нарушенного обмена веществ и болезни, открытие которой приписывают французцу Шарко, то есть женской истерии. Но Эльза лежит и при любой попытке ее поднять сначала кричит и рыдает, а после несколько часов пребывает в полуобморочном состоянии. И тогда мне ее не жаль. Жаль себя. В этом коридоре, куда мы с ней попали, полный мрак, и кто скажет, есть ли из него выход? Имея лежащую жену, я бесконечно захожу в лавку Красноярского протоиерея, потому что вижу свет только там.

...Но куда подевалась Юлия?

Он подошел к окну, прижался лбом к стеклу: весна, скоро садик мадам Шрихтер расцветет. Сейчас открою рассказ Бударина и проверю: если Паскевич прав и все, что совпадало, совпадало случайно, а Эльзины реакции просто следствие ее истерии, пусть на этот раз ничто в рассказе Николая Бударина с настоящим мгновением не совпадет! И отойдя от окна, сел за стол и, открыв тетрадь, прочитал: «Павел Петрович прижался лбом к стеклу...» Опять!

«А в саду было целое море света. Букашки, жучки и мушки уже вились над распускающимися деревьями, ползали по стволам, бились в окно, желая проникнуть в дом...»

Глава пятнадцатая. Нерчинск

— Казенное нерчинское сереброплавильное производство истощилось и закрылось в 1863 году, — говорил Бутин за обедом. На столе, кроме водки, пива, всевозможных наливок, разнообразных закусок, осетровой и лососевой красной и черной икры, удивлял чисто сибирский деликатес — приготовленная каким-то особым способом медвежья лапа. Краус даже пробовать ее не стал, не ел ее и сам Бутин. Видимо, блюдо предназначалось только для гостей в качестве местной экзотики. На сладкое подали пельмени с ягодной начинкой, пироги и шаньги. Ароматный китайский чай был хорош, а на дне изящной чашки качала головой красивая китайка. — Пришлось заняться золотодобычей, дело обоюдополезное как для нашего торгового дома, так и для государственного процветания, не побоюсь высоких слов, Викентий Николаевич! Отведено мне было для начала всего тринадцать площадей на местных реках. Потом добавилось еще три прииска... А ныне и Находка, Узкополосный, Трехсвятительский... Не буду утомлять перечислением всех, но тему сию я поднял не ради демонстраирования своего преуспевания, хотя своими трудом я могу гордиться: к примеру, только Дарасунские прииски, названные по реке Дарасун, дают до тридцати пудов, — а потому, что имею дальние планы, связанные лично с вами: вы образованный человек и, как мне кажется, с деловой хваткой, каковой пока в себе сами не ощу-

щаете вследствие отсутствия поля деятельности. И не будет у меня из-за моей занятости другого удобного часа кое-что вам о делах моих рассказать.

— Я слушаю, Михаил Дмитриевич, с большим интересом, — сказал Краус. Он допил чай — и китайка в синем кимоно перестала на дне чашки покачивать головой.

— Порой не только ум, но и хитрость приходится применять: вот переманил из Верхнеамурской компании механика Коузова, вы с ним как-нибудь у меня на обеде встретитесь, он-то для Дарасунских приисков и смастерил высокопроизводительную золотопромывательную машину, значительно улучшающую качество результата.

— Это на вас, Михаил Дмитриевич, Америка так подействовала, что вы решили заняться механизацией? Или, наоборот, поехали в Америку, чтобы сравнить ваши собственные технические идеи с тамошними?

— Вопрос ваш — в самую точку. Но ответ посередке. И себя проверить хотел, и у них поучиться. Мне там все было любопытно. И природа — похожа ли она на нашу российскую и сибирскую, и как они живут, как торгуют.... Но особенно, разумеется, их промышленность и рудники, коих я посетил несколько в разных штатах, проехав от Колорадо до Калифорнии... В чем-то я их и опережал, еще ведь до поездки запатентовал устройство передвижения по рельсам с цепным подъемом золотосодержащих песков. А там увидел под землей груженных лошадей и ослов. Я изложил свои мысли о механике письменно. Серафима! Принеси-ка из кабинета мою тетрадь, лежащую поверх книг, на столе. Она давно у меня, все знает, — зачем-то пояснил он.

Серафима, прихрамывающая немолодая женщина, принесла тетрадь и встала в дверях. Краус отметил, что одета она была не как прислуга, а по-барски. К столу она не подошла, а сам Бутин, выйдя из-за стола, взял тетрадь из ее рук.

— Ну вот, слушайте: «...при подаче песков обыкновенным способом в таратайках потребовалось бы для поднятия 120 пудов 4 лошади и 2—4 проводника, тогда как вагон с таким же количеством груза движется на машину без лошади и человека.

По расчету при промывке 100 кубических сажень получается сбережение: при добыче и подаче песков на машину и отвозки гальки и эфеля в отвалы, смотря по расстоянию, не менее 50 человек рабочих и столько же лошадей...»

Краус слушал с интересом. То ли слова Бутина о его еще не нашедшей реального воплощения деловой хватке подействовали на него как внушение, то ли Бутин и точно было прозорливец: слушать о его делах оказалось гораздо интереснее, чем вести привычные интеллигентские беседы у Оглушко. Уезжая в Нерчинск, он к Оглушко не зашел. И сейчас, вспомнив его, испытал противоречивое двойное чувство: с одной стороны, доктор вытащил его из Шанамова в Иркутск и не взял за свою помощь ни копейки, с другой — не дав согласия на скорый брак дочери с Куртом, нанес удар его другу.

— «Для привлечения в действие двух золотопромывательных бочек, подачу песков на машину и отвозку гальки и эфеля в отвалы, где нет воды, достаточно 20 паровых сил. Таким образом при промывке 15 000 кубических сажень песков сберегается 7500 поденщин людей и столько же поденщин лошадей. Что стоит каждая поденщина на приисках, каждому золотопромышленнику хорошо известно». Поденщина крайне дорого нам обходится, Викентий Николаевич, да и людей жалко, часто это бывшие арестанты, не все выживают, болеют и дети их... Да и приказчики, возможно, от нашего непривычного для них климата, часто недомогают. И семьи страдают, и я несу убытки. Пришлось, дабы обеспечить лекарствами рудничных рабочих и моих служащих, открыть здесь, в Нерчинске, аптеку... И городской обыватель рад. И на приисках вроде болеть поменьше стали. Возят туда нужное для лечения приказчики. И купальню открыл, и школу для девочек. Люблю свой город.

Краус хотел поинтересоваться, платят ли за бутинские медикаменты рабочие, но не стал.

— ...Купил вот у иркутского купца Лаврентьева еще и железодельный завод. Пришлось тут же вложить средства в механизацию — и пошла прибыль. У Лаврентьева шестьдесят тысяч пудов в год завод давал, а я надеюсь поднять до двухсот тысяч. И скоро начнем производить горные буры и даже локомобили!

Но будет о делах, позвольте мне показать вам во всей красоте своей палатки! Мы с вами в главном из зданий, здесь живу я сам, здесь же и контора торгового дома, здесь же и библиотека... С нее, пожалуй, и начнем. Есть и музыкальный зал, он не только мне служит, но и городу: в нем проходят концерты, — порой в наш медвежий угол заезжают талантливые гастролеры, я сам, признаться, пробую сочинять музыкальные пьесы, недавно открыл школу для обучения игре на скрипке и на рояле нерчинских детей... Вот поднимите голову, видите — под балконом для оркестра Эвтерпа с ангелами, а на стенах — в виде барельефов имена мной любимых композиторов: наш русский Глинка мне всех ближе, но гении Моцарт и Бах тут же... Люстра, Викентий Николаевич, между прочим, на девяносто шесть свечей! Поднимает и опускает ее, дабы зажечь или погасить свечи, специальный механизм... Есть у меня еще фламандские картины... Но русские и местные художники мной ценимы: чем-то нравится мне очень картина Пелевина «Няня», неплох и «Заливной луг» Ткаченко. Вы любите живопись?

— Люблю.

Вспомнились портреты неизвестного художника над роялем в гостиной Зверевых: наверное, и его работы есть во дворце Бутина.

— Вашему дворцу, Михаил Дмитриевич, позавидовали бы самые богатые польские магнаты! Такой красоты и роскоши я не видал нигде.

— Это будет памятником мне, Викентий Николаевич. Хотя о смерти нам с вами еще думать рано, но кое-какие предчувствия отпущенного мне срока у меня есть. А вот и библиотека, более двадцати тысяч томов, есть книги на немецком, на английском, я сам романы Диккенса прочитал на родном его языке. Пользуйтесь, чтобы у нас в Нерчинске не скучать... А как вам глобус?

— Огромный!

— Сейчас покажу вам свои коллекции: минералогическую и нумизматическую... Да, чуть не забыл, для вас посыльный сегодня утром привез письмо из Иркутска, я его и положил намеренно на стол в библиотеке, зная, что мы сюда обязательно придем... И здесь позвольте мне вас оставить: дела. Жду вас вечером для очередного нашего с вами занятия, библиотека для них самое удобное место.

* * *

Письмо было из Варшавы. Неужели, наконец, от Курта? Но почерк, подписавший иркутский адрес, не принадлежал Вагену. И Краус медлил, не открывая конверт, в голове стучали, неприятно отзываясь в висках, слова Бутина: «кое-какие предчувствия... кое-какие предчувствия... кое-какие предчувствия...» Он подошел к глобусу, нашел Галицию, а здесь, наверное, Волынь... Мальчик в голубой матроске кидал камушки в серебристую воду Припяти... Matka Boska, неужели это действительно было? Не верю. Детство мое погрузилось на дно Ангары... Почему — Ангары? Откуда прилетели эти странные слова? Он резко отошел от глобуса, схватил письмо, разорвал конверт.

«Дорогой мой единственный друг, — писал Курт (письмо было от него!), — я только что закончил диссертацию, но какой теперь смысл в ней, ее все годы питала моя огромная любовь к Полине, чье прекрасное лицо было для меня всей Россией. Теперь все кончено. Моя жизнь осталась на дне Ангары. Ты, Викот, наверное, знал, что она вы-

шла замуж за Романовского, но старался как можно дольше сбережчь меня от выстрела, метко попавшего мне прямо в сердце. Вспоминай меня в день рождения Пушкина каждый год. А Полине передай: пусть моя любовь ее больше не тревожит. Твой Курт».

На втором листке той же рукой, что подписала конверт, была сделана приписка по-польски: «Курт фон Ваген скончался 26 мая с. г. в Варшаве. В предсмертной своей записке он просил не сообщать причину смерти, что и выполняю, не имея права нарушить последнюю волю покойного своего учителя. Свою диссертацию он завещал вам, и она отправлена в Иркутск. Магистр Адам Каминьский».

Глава шестнадцатая. Иркутск

Краус две недели был болен. Он еще в детстве, когда случались какие-то пустячные, для взрослого взгляда, неприятности, однако очень болезненные для ребенка: потеря любимой лопатки или поломка механизма в милой игрушке, заболел: резко поднималась температура, и он проваливался в жар, чтобы, оттолкнувшись от жестокого берега, уплыть из детского горя в лодке полусна-полубреда на остров одиночества и после, перемолов там в мелкий песок и развеяв по берегу мучительную память, вернуться обратно в жизнь. Особо долгим было его возвращение после смерти матери.

Проницательный Бутин догадался о причине его болезни, но на всякий случай прислал врача-поляка. Врачебным талантом Оглушко, безошибочно угадывающим под телесными симптомами их психологический исток, он явно не обладал, потому, найдя инфлюэнцию, прописал только жаропонижающее — и откланялся. Впрочем, для Крауса, попавшего, как в детстве, на остров полусна-полубреда, это было и лучше: душевную муку он мог превозмочь только в одиночестве.

И все-таки превозмог.

Литературный труд Вагена Бутин пообещал издать здесь, в Нерчинске, где открыл свою типографию — местные казенные типографии работали, по его словам, медленно, дурно да и брали слишком дорого: щедрый на меценатство, помогающий всем, кто попросит, устраивавший для рабочих бесплатные столовые, Михаил Дмитриевич тем не менее в своих делах искал малейшей возможности снизить цены на необходимые для приисков и заводов закупки, а также на их доставку. Он вел огромную торговлю, имел свое пароходство: три парохода и семь барж, — Русское географическое общество наградило его даже серебряной медалью за описание новых торговых дорог для торговли с Китаем. Бутин только что получил еще одну награду — орден Святого Станислава третьей степени. Теперь он добивался продолжения рельсового пути по всей Сибири и, пытаясь убедить правительство в этой необходимости, писал, что «только при этом условии можно пробудить к жизни обширную и богатую, но вместе с тем почти безлюдную территорию... Устройство железной дороги в Сибири тем более нужно, что Китай с его переполненным населением... по-видимому, близок к тому, чтобы начать жить иною жизнью, и скоро такое соседство, не отделяемое никакими непроходимыми преградами, может сделаться для нас далеко не безопасным». Свои статьи он иногда зачитывал за обедом, полагая их необходимость для развития гражданского чувства у своих приказчиков и служащих.

Когда Краус выздоровел, Бутин предложил ему съездить на неделю в Иркутск развеяться и проверить, не пришла ли из Варшавы диссертация Курта. Как бы не пропала, добавил он. Вы свои комнаты сохранили, или в них кто-то живет? Насколько мне помнится, сразу, едва мы стали с вами заниматься, я дал вам сумму, нужную для оплаты квартиры за полгода.

- Сохранил.
- Ну тогда пропасть не должна...

* * *

Вдоль Сибирского тракта — одной из самых длинных дорог того времени — то попадались застывшие журавлиным клином деревни, то подступали к дороге крепенькие почтовые станции, часто чуть в отдалении от них стояли угрюмые тюремные этапные избы, дававшие краткую передышку заключенным. Тянулись по тракту арестантские подводы, тянулись груженные караваны торговых подвод купцов русских и зарубежных, везущих свои товары на продажу в Китай, тянулись из Китая подводы с чаем, шелком и фарфором... Верстовые столбы, переправы через реки и речушки, жиденькие перелески и глухое эхо близкой тайги... Как ты говорил, Курт, тайна русской души в ее любви к дороге? Или в самой российской дороге? Для меня, единственный друг мой, ты снова жив, только теперь ты живешь не в Варшаве, а навечно поселился в моей душе. Я издам написанное тобой книгой, твоё имя обретет известность, и эта вероломная Полина поймет, кого потеряла. Не говори о ней так, Викот, она не виновата. Любовь не подсудна. Она выше всего. Я не согласен с тобой, Курт! Дружба и верность выше любви как чувства духовные, а не душевные или плотские. Верность, Викот, есть даже в мире птиц. Я забыл, что ты — цапля, Курт...

— Задремали, барин, — выкрикнул хрипло ямщик, — а ведь во-оо-она уже Иркутск!

* * *

Имя младшей дочери канцелярского служителя Девичьего института Егора Алфеевича Зверева — Катя, и она действительно очень похожа, Курт, на свою старшую сестру Анну, только ее чуть выше и тоньше. С того мига, когда я понял: на портрете — она, я не могу забыть ее, но стараюсь всеми силами о ней не думать или думать спокойно, заглушая все чувства, пытающиеся взять верх над моим главным рациональным решением: я теперь не хочу любить. Ты поймешь меня, Курт. Я потерял в раннем детстве маму, которую очень любил, как любят все дети своих добрых ласковых матерей, потерял свою первую любовь Ольгуню и теперь — потерял тебя! Судьба отнимает у меня все дорогое, предлагая взамен одиночество и... И что еще, Викот? Еще — Сибирь! Знаешь, Курт, когда едешь по этой необозримой земле, ощущая ее как одухотворенное Богом пространство, почему-то начинаешь верить в бессмертие... Не могу объяснить сам, откуда во мне такие мысли. Почему я стал ощущать Сибирь как великую, могучую симфонию? То чувство, что охватывает меня, когда я смотрю на Байкал-море или слышу, как переговариваются высокие кедры (кстати, ты помнишь, что орехи их очень вкусны?), больше меня самого, я умещаюсь в нем — и оно, обнимая, не поглощает, а защищает меня. Может быть, Курт, так действует на меня общение с Бутиним? Это русский человек-титан.

* * *

И опять ему улыбнулись окна, выглядывая из желто-красной листвы, и опять, точно приветствуя его, весело скрипнули ступени....

— Папа, мама, к нам Викентий Николаевич! — радостно воскликнула Анна. — Как хорошо, что я дома, у меня сегодня выходной в институте, а Катя на службе, она первый год преподает в женской гимназии. Мы с ней все время вас вспоминаем. Как Нерчинск? Как вам дворец Бутина?

— Стоит дворец.

— Правда, хорош?

— Не хорош, Аннушка, а великолепен, — сказал, выходя в гостиную, Егор Алфеевич.

Краусу показалось, что за два с половиной месяца он сильно постарел. Вышла и Елизавета Федоровна, заулыбалась.

— Рады вам, очень рады.

За обедом он рассказывал о Бутине, о его библиотеке, хвалил его способности к языкам, упомянул Серафиму, сообщил, что тот отпустил его на три дня в Иркутск за рукописью, которую должны прислать из Варшавы. О том, что случилось с Куртом (слово «смерть» и Курт он решил никогда мысленно не соединять), сообщать не стал: ни старики Зверевы, ни Анна его не знали, а упоминать Полину Оглушко не хотелось. Но Анна сама о ней заговорила. Ходят упорные слухи, что вот-вот амнистия для участников восстания на Кругобайкальской дороге, сказала она, а пан Романовский ждет не дождется, когда можно уехать на родину: он же богат, с ним поедет и Полина, и она теперь не православная, а католичка.

— Бутин жил с этой Серафимой как с женой, — сказала Елизавета Федоровна, — когда овдовел, это все знали, он ее и в Иркутск привозил. А теперь, говорят, скоро женится на какой-то дворянке...

Провожая, уже в дверях Анна наклонилась к нему и прошептала: «*Za naszą i waszą wolność!*» И шелковый ее шепот смешался с шелестом опадающей листвы.

* * *

Домовладелец Юсиц тоже обрадовался ему: о, будете продолжать жить у меня, господин Краус, для меня честь такие постояльцы, как вы.

— Вернусь через месяц, Исаак Самойлович, вы не забыли, что у меня оплачено еще за три месяца вперед?

— Забыл, — Юсиц похлопал себя ладонью по лбу. — Верно сделали, что напомнили, как вы понимаете, мне, мелкому людишке, выгоднее забыть, чем помнить. Вот коли бы я вам дал денег, тогда наоборот, — голова у него была очень узкая, с двух сторон сплюснутая, точно склеены были вместе два профиля, но за счет телесной подвижности и черных ярких глаз он, как шутил квартирующий у Юсица третий год старик Касаткин, имел большой успех у всей иркутской прислуги. И сейчас изнывающий в одиночестве Касаткин, услышав, что внизу идет беседа, спустился со второго этажа

— Кроме письма, переданного мной посыльному от Бутина, ничего из Варшавы я не получал, может быть, принесли почту без меня? Вы не видели, Иван Селиванович?

Старик тоже о посылке ничего сказать не мог. Спустился вниз и третий квартирант, белорусский меланхоличный дворянин Штейнман. И он почты не видел.

— Возможно, просто еще в пути, знаете, могло всякое в дороге случиться, не отчаивайтесь.

— Я, собственно, ради этого приехал.

— Мне как-то везли вино, заказывал в самом Петербурге, не довели, косогор, колесо отвалилось, подвода набок, бутылки разбились, вино пролилось, — Юсиц придал своему лицу почти скорбное выражение, — три года потом судился, чтобы мне возместили убытки.

— Возместили?

Но Юсиц Касаткину не ответил: уличная дверь открылась, и вбежал тот самый рыжий мальчишка-газетчик, что принес однажды Краусу записку от Анны. Он и сейчас держал в руках конверт, хотя сегодня был в гимназической форме.

— А вот и письмецо, — пробормотал Юсиц. — И, конечно, любовное не мне и не вам, Иван Селиванович, а кому-то из этих молодых господ.

— Викентию Краусу!

Краус взял письмо: оно было от Анны.

— Восстановили, выходит, Потапова-то, раз его сынишка снова учится в гимназии, — сказал Касаткин, когда мальчишка убежал. — А ведь еле с голоду они не умерли: детей пятеро, этот старший.

— Вы о нерчинском офицере Потапове? — спросил Краус. И опять у него возникло чувство, что это все с ним уже было: разговор о Потапове и знание, что мальчишка-газетчик именно его сын, и ответ старика Касаткина, внезапно споткнувшегося о выступающий край половицы, но удержавшего равновесие:

— О нем.

И знал: в письме свернулось клубком нежное девичье признание.

«Викентий Николаевич, если Татьяне Лариной был не зазорно написать первой Онегину, не зазорно и мне. Еще когда я увидела вас первый раз, душа моя точно запела. А вчерашний ваш визит к нам открыл мне мое сердце: я вас люблю. Если сегодняшний день вы еще в Иркутске, будьте в семь часов вечера на том же месте. Анна».

Что было делать — он не знал. И когда, прослышав о его приезде, к нему приковылял беспрерывно кашляющий и ругающийся Сокольский, спросил его, как бы он поступил в таком случае, конечно, не называя имени Анны. И тут же о своей откровенности пожалел.

— Напишите ответ: если ты, как все русские дуры, будешь жить романами, останешься на бобах! Любовь ее как рукой снимет, она порвет ваш портретик и вскоре выйдет замуж за преуспевающего иркутского купчика. Поймите, Краус, все это сплошная биология: обезьяны тоже любовно вопят, когда им пришел срок плодиться. А уж кошки... Относитесь к женщинам без поэтического флера. Не подражайте своему тевтонскому идеалисту Вагену!

Краус, не имея сил выговорить слова «Он умер» (ты не умер для меня, Курт), достал письмо Адама Каминьского, Сокольский взял его с восклицанием: «О, родной язык! В этой чужой России только он может поднять дух!» но, прочитав, замолчал и, не спросив, закурил, сжавшись в кресле, как старый гриб-дождевик, который, если на него наступить, выпускает коричневый дым, — такие росли здесь на окраинах, в лесочке.

Глава семнадцатая. Красноярск

Покойный Бударин был Андрею уже неприятен тем, что постоянно откликался на его жизнь, более того, порой и управлял ею, заставляя кричать несчастную Эльзу или предугадывая события, — через свои рассказы он словно показывал ему, молодому и здоровому, тщету живых и власть над ними небытия. И сейчас, листая тетради Бударина, Андрей искал рассказ, который бы ни в чем не мог бы совпасть с повседневным ходом событий, чтобы, прочитав его и не обнаружив совпадений, скинуть этот неприятный мистический полог со своего сознания, опровергнув собственные же мысли о власти смерти над жизнью. Хватит попадать мухой в расставленную сочинителем паутину.

Рассказ в тетради без обложки показался подходящим: действие происходило на прииске, куда Андрей, не прояви полковник Говоров сочувствие к юному арестанту, всего лишь жертве неправильного знакомства, мог, конечно, попасть, но не попал — и потому все в бударинском рассказе было ему чужим.

— Возьмите! Уберите его! — затопал ногами управляющий, но ни один человек не сдвинулся с места.

— Ишь ты, птица в колеснице, одел на фуражку две балдушки с плевком и думает, что умнее всех. Ты родись умным, тогда и кобенься (...).

Хмыкин отошел в сторону и сел на дровах. Управляющий уже не смотрел в его сторону, а обращался к Егору Солотенкову и Лапкину. Он долго убеждал их, что по новой таксе продукты будут дешевле, что грунт дальше податливее, камня нет (...), но рабочие твердо стояли на своем.

— Ну, ладно, — махнул рукой управляющий, — пусть будет по-вашему, только чтобы этого не было, — он указал рукой на Хмыкина, — это мое условие.

И все застыли. Легкий трепет побежал по толпе, будто все легонько качнулись. Но никто не решился повернуть голову в сторону Хмыкина, а он сидел одинокий, злой и насмешливый.

— Сегодня же подсчитать Хмыкина, — распорядился управляющий, — а завтра открыть работы, довольно побезобразничали. И (...) рассчитанных не держать.

— Не страшно, барин, не испугаемся! — крикнул Хмыкин, не вставая. — Одну бабу волком пугали, а она медведя видела!

Но управляющий ничего не ответил, а, повернувшись (...), ушел в квартиру.

— Чтобы вас паралич разбил (...). Скорпионы! Ну че стоять, ребята? Продали, и довольно. Больше не дадут. Дотяхали (?) до ряжки, дальше раскрывай двери и ворта, выноси пожитки жигана Хмыкина.

— Слава Тебе Господи, кончилось, — набожно перекрестился Лапкин.

— Надо остепениться, всему есть мера, — деловито заметил Егор Солотенков, — да и задираться тоже нечего, а то как раз задерешься.

Напрягая весь свой ум, все свои чувства, чтобы связать происшедшее в узел (?) понятного, Кузька наткнулся на жуткие противоречия, пугающие своей внезапностью. Перед ним сразу выросла молчаливая стена, за которой слышались мало-понятные слова управляющего, Хмыкина, Солотенкова и других...

Эльза спокойно спала. Все описанное, видимо, было так далеко от Андрея и от нее, что не способно было проникнуть в сон. Начала рассказа почему-то не было, но сюжет он уловил: все выстраивалось вокруг рабочего Хмыкина, поднявшего бучу против начальства ради надбавки в сорок копеек. Надбавку дали, но Хмыкина выгнали, и Кузька, сын другого шурфовщика, остро переживал несправедливость происшедшего.

— Шибко хорошо сорок копеек. Работать можно. Который хорошо, который плохо, а все одно выйдет.

— Что хорошо? — как будто со сна спросил Кузька.

— Шурф, шурф, я говорю, который худо, так худо и есть, который хорошо, хорошо есть.

— А Хмыкину хорошо?

...

В набежавших сумерках чернела неподвижная фигура Хмыкина, а в углу, корчась от тоски, перебрасывая голову по неровностям брошенной в кучу одежды, шевелилась комочком фигурка Кузьки. Моргая припухшими веками, он смотрел на (...) шурфовщиков, ловил слова, и они для него отрывались от людей и становились маленькими самостоятельными существами, неизвестно для чего снующими под низким потолком казармы.

Лапкин принес спирт. Зажгли огни.

...

Хмыкин пил много (...), искрящиеся глаза его пылали жаром. Он вставал, кричал громко, заглушая голоса рабочих, и стучал об стол кулаком.

— Хмыкин не выдаст! Жиганом был, жиганом подохну! — Схватив пустую бутылку, он швырнул ее в угол, и звенящим веером рассыпались стеклянные брызги.

— Слушайте! Слушайте все! — становясь на стол, крикнул Хмыкин. — Не первый год работаю я, всем известно. Попили с меня крови довольно, попили, как со всякого рабочего человека пьют. А почему? Молчишь а они, как мошкара на рыбешку. (...) Все ихнее, все ним принадлежит. Золота добыл для них дай Бог умному, а в благодарность по шее жигана Хмыкина, по шее его, а у него рубахи нет, пимы развалились. И все мы такие. Ночь родила нас и нужда. Нужда была нашей матерью. Мы добываем, а получают другие. Так я говорю? Завтра я ухожу и хочу сказать на прощание вам, что нужно кусаться, зубами, по-вольчи — отнимать свое. Хвостобаев и хозяйских прихвостней бить, не жалея бить. Правильно я понимаю?

— Верно! Правильно! Ура! Качать, ребята!

...

На следующий день очень поздно возобновились работы на шурфах, очень поздно ползли сизые клубы дыма по влажным холмикам набросанной породы, очень поздно поднимались они вверх между оголенными ветвями, превращаясь в неподвижный облачный столб с золотыми колеблющимися краями...

* * *

А ведь мог Бударин стать известным писателем, не заработай он в тюрьмах чахотку и не умри так рано... Но пропустила бы его рассказы цензура, еще вопрос. Усмотрели бы призыв к свержению власти, отправили их в корзину для мусора или в лучшем случае как доказательство неблагонадежности автора в папку Особого отделения, хорошо, что он успел жениться на Мусе Ярославцевой, теперь его труд не исчезнет... Но что мне делать с его сочинениями?

Проснулась Эльза, тут же потребовала еды, он принес ей в постель завтрак: тарелку с перловой кашей она сбросила на пол, но молоко выпила и съевала бутерброд с сыром. У Андрея уже не осталось надежд на то, что она встанет. Каждый раз, когда они с доктором Паскевичем пытались ее поднять, она начинала проклинать Андрея, рыдать и кричать, что будет умирать.

Сегодня вечер у него был свободен: в кинематографе почему-то отменили на три дня показ фильмов, потому тапер не требовался, и можно было сходить к доктору, чтобы поговорить с Паскевичем о судьбе Эльзы откровенно, не рискуя, что она услышит.

Подходя к Думскому переулку, где Паскевич жил, Андрей встретил композитора и преподавателя музыки Иванова-Радова, с которым был мимолетно знаком, еще будучи студентом консерватории.

— Как вы? Слышал, супруга больна и вы бедствуете? Где вы сейчас?

Услышав, что Краус вынужден подрабатывать тапером, Иванов-Радов возмутился:

— Что же вы с собой делаете, Андрей Викентьевич! Вы же талант, а портите руки на плохом инструменте! Я вот пишу сейчас детскую оперу, приходите ко мне домой, послушаете, что выходит. И поговорим о вашей работе, может быть, я найду вам ученика. Нельзя зарывать свой талант в землю!

— У меня руки болят, Павел Гаврилович, ревматизм, — пожаловался Андрей, — я ведь не только тапер, но и прачка. Мой отец, ссыльный повстанец, был управляющим у миллионщика Бутина и получал почти три тысячи рублей в год, а потом и более, а мне, музыканту, денег на прислугу не хватает, плачу за квартиру и все время боюсь, что из-за болезни жены хозяйка может попросить нас съехать. И тогда я буду просто в отчаянии!

— Вам нельзя, нельзя так обращаться с руками!

— Иду сейчас к нашему общему с вами знакомому доктору Паскевичу насчет жены, может быть, он посоветует мазь и мне от ревматизма суставов.

— Господи, вы ничего еще не слышали! Не знаете ужасную весть! Паскевич убит вчера на окраине Красноярска: поздно возвращался от рабочего, лечил бесплатно его жену от послеродовой инфекции...

— Какой ужас! За что?!

— За белый воротничок, Андрей Викентьевич.

— За воротничок?

— За барина приняли, а барин для них — кровопийца. Теперь их и лечить-то некому: кто еще обладает таким бескорытием и благородством?

* * *

Через три дня поле гибели Паскевича умерла Эльза. Приехавший на освидетельствование старик врач написал, что смерть наступила от остановки сердца.

— Вследствие чего? — спросил Краус

— Вследствие естественной изношенности организма по причине глубокой старости, по виду покойной не менее восьмидесяти лет, а то и все девяносто.

Старик доктор был почти слеп.

Глава восемнадцатая. Иркутск

Но в Нерчинск возвращаться не пришлось: неожиданно в Иркутск приехал сам Бутин с новой идеей: построить здесь солеваренный завод. Больно дорого продают соль купцы из Усолья-Сибирского, да и качество их оставляет желать лучшего, объяснил он Краусу. Уроки продолжим, а в придачу я попытаю вас на предмет ваших деловых качеств, подсказывает мне мое чутье, что они у вас незаурядные. Чем вы хуже поляка Савичевского? Его мыловаренный завод неплохо работает, а он сам еще и кедровым орехом торгует. Я ведь тоже начинал, не будучи уверен, получится ли из меня нынешний Бутин: в пятнадцать лет нанялся приказчиком к нерчинскому купцу Хрисанфу Кандинскому, про него всякое говаривали, мол, и кистенем на тракте не брезговал, когда сколачивал свой капитал, но я молве не верил и сейчас не верю: болтали от зависти. Он по-доброму ко мне относился и, когда разорился, продал мне очень дешево свой магазин в Нерчинске. С него и пошла моя деловая история. Вообще, Викентий Николаевич, именно зависть людская — самая страшная темная сила мира, завидуют всему: и что у человека талант, и что у другого кошелек толст, что дом велик или жена красавица, и доброте ее тоже; завидуют России, что владеет она необъятными землями, вот бы, мол, страну расколоть, как орех, и прихватить территории... Моя первая жена Софья, ангел и по характеру и по наружности, была сильно чувствительной: я, признаться, люблю роскошью людей поразить, больше уважают, и знаю, мой палаццо — это мне памятник, мое нерчинское бессмертие, а она от зависти людской страдала, косо на нее кто посмотрит, заболеть могла. И вот умерла молодой, так Серафима, моя домоправительница, уверена: навели завистливые черные люди на жену мою и на двух наших детишек порчу: скончались младенцами они, следом и Софья. Суеверие? Кто его знает... Человек — существо ведь не только телесное, но в первую очередь — душевное. Душа страдать начнет — тело болью откликнется. Порой только молитва и помогает... Ну, будет о грустном... Завтра жду вас утром в конторе: попробую ваши силы совсем в другом деле. А вечерами продолжим учить немецкий, я уже начал читать самого Гёте!

Бутин не в первый раз ставил ему в пример не только успешно торгующего Савичевского, но и другого поляка — Подлевского, заготовителя и поставщика зерна

в Алтайское горное управление, и Капинских с их фабрикой сыров: он знал досконально всю сибирскую торговлю.

— Но я птица ранняя, работу сам начинаю не позже шести утра, а общую — с восьми. Ваш соотечественник, пан Сокольский, вечно опаздывал: десять, одиннадцать, а его нет. Хоть и человек он толковый, но самолюбия пораженческого не преодолел и Россию по-прежнему не любит — все над нами, русскими, желает возвыситься, своими опозданиями он как бы мне показывал: вы мне не хозяин, я гордый свободный шляхтич. Теперь он, мне сказали, стал гравером, если захочет граверную мастерскую открыть и придет ко мне просить денег, помогу. Решение, позволившее бы полякам вернуться на родину, затягивают, потому, видимо, придется ему пожить еще какое-то время в Иркутске. Я зла не таю, и не оттого, что слишком добр, а из-за понимания людской сути. Ну, разве мне не понятна обида за поражение в восстании и за то, что Царство Польское под русской пятой? А коли видишь живые корни, то и безлиственную крону за метлу не примешь.

* * *

— Нет, Викентий Николаевич, почты не было, — сказал Юсиц, когда Краус вернулся от Бутина. — И Касаткин, и Штейнман тоже во внимании. — Вы бы запрос отправили на тот адресок, с которого почту ждете, а то всякое бывает. Вот я как-то заказал в Москве сукна, да много заказал, жду, жду, не везут, оказалось, на подводу напали, товар украли... Я два года судился, чтобы мне возместили убытки.

— Вы же рассказывали не про сукно, Исаак Самойлович, а про вино и английский чай, — это спустился со второго этажа услышавший разговор коллежский ассессор Касаткин.

— Так вы меня не путайте своим недоверием, Иван Селиванович, чай — совсем другая история, заказал его через чаоторговца Старостина, и опять неприятность: подводы были плохо закрыты, попали под сильнейший ливень, чай размок, привезли мне не чай, а кашу, пришлось судиться. Здоровье потерял, чемодан денег на взятки извел, но убытки за все потери мне оплатили — купил дом и теперь вам, господа, сдаю комнаты.

— Предприимчивый вы, однако, человек, Исаак Самойлович, — удивился Касаткин, — я вот как бывший чиновник департамента могу засвидетельствовать: в России что упало с воза, то пропало, а чтобы деньги за все свои потери получить — то надо суметь! Нашим бы лентяям поучиться у вас, а то лишь взятки горазды брать.

Краус поднялся к себе, попросив у Юсица горячего чаю. Надо было что-то написать Анне: он не пришел вчера вечером к Девичьему институту и на ее письмо не ответил. Анна, наверное, решила, что он поспешно уехал в Нерчинск и напишет ей оттуда. Или... Или просто прийти к ним вечером и, выйдя из дома с ней вместе, попытаться объяснить? Сказать, что она, конечно, очень нравится ему, но его исстрадавшееся сердце, нет, так слишком красиво, его измученное жизненными испытаниями сердце уже не способно открыться чувству и потому он избрал для себя одиночество и не имеет морального права это скрывать от девушки... Поймет?

* * *

И опять подумалось: такие тихие небольшие каменные дома переживают своих хозяев, обращая в тени жильцов, но сберегая их застывшее время...

Как мне недостает тебя, Курт.

Сейчас окна не показались ему приветливыми, а одно, самое крайнее, возможно, как раз окно комнаты Анны, было вообще закрыто ставнями. И ступени скрипнули нерадостно.

Оказалось — как раз вчера внезапно заболел Егор Алфеевич. Потемневшая лицом Елизавета Федоровна вышла к гостю на минутку, извинилась, что не может уделить ему время — ухаживает за мужем. Горничную отправили за лекарствами, прописанными доктором Оглушко, Анна в институте.

— Но дома младшая, Катенька, она сейчас накроет сама на стол и составит вам компанию.

Присев на обитый плотным китайским шелком синий диван, он стал пристально смотреть на портрет Кати, разглядывая черты лица, листья березы и окаменевшие волны платья, и когда она вышла в гостиную, у него мгновенно возникла иллюзия, что, если перевести взгляд на портрет, девушки возле березы сейчас не окажется.

Несмотря на сильное сходство с сестрой, Катя была совсем другой, это угадывалось сразу: невозможно было представить ее с папиросой или рассуждающей на темы женских свобод. Застенчивая, даже робкая, с коричневыми мягкими белыми глазами, она бы, конечно, не могла написать первой письмо мужчине с признанием в любви. Таила бы чувство в душе и тихо страдала. Вспомнив Татьяну Ларину, которую упомянула в своей записке Анна, он спросил Катю о том, кто из писателей ей нравится. Имени Каролины Павловой, которую она назвала первой, он не слышал.

— Мне ее стихи принесла Анна, они очень грустные, Каролина Павлова любила поэта Адама Мицкевича, они даже были помолвлены, но он уехал в Польшу и забыл ее.

Он заметил, что бледные щеки Кати порозовели.

— А мой друг писал о Пушкине. — И он стал рассказывать ей о Курте. Он читал его стихи, цитировал строки из его писем и по ее просьбе описал его наружность. — Похож на высокую цаплю, длинная худая шея и нос длинный, а глаза умные-умные...

— Как я хотела бы его увидеть! — воскликнула она. — Цапля такая удивительная птица!

Вышли они из дома вместе, Катя решила немного прогуляться, как она объяснила, чтобы отвлечься от болезни отца и от своих дурных предчувствий. Как-то незаметно для себя они оказались в парке возле Девичьего института. Вдоль длинной аллеи синели васильки, на площадке невдалеке молодая девичья компания играла в крокет. Он заметил: среди них была Анна.

— Смотрите, среди них Анна, — сказала Катя. — Она увидела нас.

— Нет, она не увидела нас, — сказал он. — По-моему, не стоит отвлекать ее от игры. Свернем на другую аллею.

* * *

«Я заметила, Викентий Николаевич, как вы свернули на другую аллею, и поняла: вы не хотели, чтобы я увидела вас прогуливающимся с моей сестрой. Но ведь я все равно бы узнала о вашем визите и вашей прогулке, зачем же было так поступать? Впрочем, Катерина мне объяснила, что это не вы пригласили ее совершить promenade, она сама решила пройтись, чтобы отвлечься от болезни нашего рара. Ему хуже. Оглушко был сегодня утром, ничего обнадеживающего сказать нам не смог и призвал нас быть готовыми к самому худшему. Викентий Николаевич, вы знаете (если не забыли), что я учительница в своем любимом Девичьем институте, куда принимают только незамужних женщин. То есть если я выйду замуж, то обязана буду сразу покинуть институт и потеряю то место, какого мне в Иркутске более не найти. По своим убеждениям я не могу быть содержанкой даже супруга, потому если Оглушко, к несчастью, прав, значит, Богу будет угодно, чтобы я никогда не выходила замуж, посвятив свою жизнь стареющей матери и воспитанию своих учениц. Прошу: сожгите мое предыдущее письмо. Вы не ответили на него сразу, и я не так глупа, чтобы не понять смысл вашего молчания. Za naszą i waszą wolność! Анна».

Монотонно стучал о крышу дождь. Внизу о чем-то громко спорили Юсиц и Касаткин. Зашел Штейнман, стал жаловаться на одиночество, вам письма приносят, говорил он грустно, а мне никто не пишет, печать одиночества на мне родовая: бабка моя была некрасива и, что гораздо хуже, бедна, обрусевшая немка из дворян, она вышла замуж за немолодого, крещенного в православие богатого еврея, получившего вскоре дворянство по Табелю о рангах, ее родня от них отвернулась, родовое местечко почитало моего деда чужим, сын их, мой отец, сразу после моего рождения бросил мою мать, она была из старинной русской купеческой семьи, и — вскоре умер, она вторично вышла замуж — теперь за военного, который меня сразу возненавидел и заставил мать оправить меня, трехлетнего, на воспитание деду... Самое неприятное, что я не люблю ни Белоруссию, ни Польшу, ни Россию, ни Германию, где побывал в юности: ребенок, не знавший матери, не знает чувства материнской любви, вот и я — везде чужой. Ни в каком восстании я участия не принимал: нашел на лестнице дома листок с призывом к свержению власти и забыл его выбросить, а снимал квартиру у повстанца, о чем и не догадывался. Внезапно — обыск. Его казнили, меня выслали. Нелепая ошибка — и вся молодость прахом... Как-то вечером прошлой зимой я лежал и думал, что же держит меня в жизни и не дает наложить на себя руки, и, знаете, что удумал? Меня держат музыка, которая для меня истинное счастье, я ведь ни одного концерта не пропускаю, и деньги. И не то чтобы я был до них жаден, вовсе нет, я даже не скуп, деньги для меня как выигрыш в игре, как подарок, помните, если в детстве подарок очень нравился, с ним не хотелось расстаться ни на минутку. Вот и мне сильно нравится их считать, многократно пересчитывать, складывать вместе по их достоинству, сравнивая, какая пачечка получается больше. И как представляю, что они лежат на столе, а меня нет и чьи-то чужие руки их берут, сразу все мысли о смерти улетучиваются. Начал даже изучать науку об экономии и замыслил открыть свой банк. Вам первому в этом признаюсь. Лучшего места, чем Иркутск, для нового банка нет. Здесь и Китай недалеко, и богатые буряты, предки которых были тайши, и золотодобыча. Как Бутин, вряд ли разбогатею, но кто знает..

Краус вспомнил: ему завтра к восьми утра нужно поспеть в бутинскую контору.

— Писать-то мне частных писем никто не пишет, а наследство-то недавно я получил, будучи единственным внуком своего деда, прожившего почти сто лет, и могу теперь начать свое дело. Но мне бы хотелось избавиться от одиночества посредством женитьбы. Сам я знакомиться не умею, считая наружность свою невыигрышной, но слышал от Касаткина, что вы бываете у чиновника Зверева Егора Алфеевича, имеющего двух красивых дочерей, я их вижу порой на концертах в дворянском собрании. Если бы вы меня ввели к ним в дом, был бы вам признателен.

— Я бы с удовольствием, но Егор Алфеевич при смерти, увы. Им пока не до знакомств.

— Дай бог, выживет... А я умею ждать, Викентий Николаевич.

— Только... только у младшей, говорят, уже есть жених.

Глава девятнадцатая. Красноярск. 1916 год

Еще подходя к дому, Андрей услышал жуткий, какой-то утробный бесконечный звук и, войдя в кухню, через которую необходимо было пройти, чтобы подняться к себе на второй этаж, увидел в ней мадам Шрихтер: домовладелица сидела на полу, закрыв руками лицо, и выла. Рядом с ней валялся листок бумаги, он поднял его и прочитал: «...Юрий Шрихтер участвовал в Брусиловском прорыве, 20 июня с. г., во время одной из атак, его рота осталась без офицера, Шрихтер успешно принял на себя ко-

мандование. Как разведчик он сумел взять в плен более ста немецких солдат и офицеров и был предоставлен ко второму Георгиевскому кресту, но получить награду не успел: поведя роту солдат в атаку на прорыв вражеского окружения, он получил тяжелую рану, от которой через день скончался. Ему был 21 год. Память о герое в наших сердцах. Полковник Ильин».

— Это ужасно, — прошептал он.

Какой стыд: он, живой невредимый, здесь, в тылу, жалуется на ревматизм рук, а Юрий Шрихтер погиб.

— Я... найду себе квартиру, Роза Борисовна, и сразу съеду.

Шрихтер отняла красные ладони от лица.

— Не бросайте меня, Андрей, — вместе со слезами и воем выплеснула она слова, — не бросай... Я дом тебе завещаю...

* * *

Повесть Бударина о Кузьке и уволенном с прииска Хмыкине называлась «Шурфовщики». Теперь, когда не было Эльзы, Андрей решил упорно прочитать все, что оставила ему Муся Ярославцева, и принялся, отложив «Шурфовщиков», листать бударинские рассказы: чтение отвлечет от печальных событий. Розу Борисовну третьего дня увезли в больницу с сердечным приступом. Бродить по опустевшим комнатам ему, так любившему одиночество, сейчас было тяжело: точно он сам освободил дом от Эльзы и отправил под пули юного Шрихтера, чтобы добиться у охваченной горем его матери завещания в свою пользу. Пусть она еще поживет, и я успею от незаслуженного наследства отказаться. В конце концов найду хорошую работу, брошу кинотеатр...

Вечером его ждал у себя Иванов-Радов, в присланном приглашении обещая гостям исполнение силами профессиональными и любительскими первого действия новой своей детской оперы-сказки «Лесная царевна». К приглашению была приложена рукописная программка с действующими лицами, среди которых значились: Медведь (бас), Лесной Дух (баритон), Царевна (сопрано), Хор травы и цветов. Фамилия певца стояла только возле Медведя — Каритиди. Это был известный в Красноярске бас, добродушный великан, своим мощным аппетитом ежедневно способствующий доходу ресторана «Енисей».

Опера, наверное, будет звучать симпатично. Сейчас, не опасаясь совпадений, открою один из рассказов прямо на середине... Никакого Лесного Духа в них точно не встретишь! Бударин — реалист, последовательно протестующий против общественного механизма, жестоко сминающего народ, рабочие у него, признаться, показаны очень достоверно и вызывают сочувствие, хотя и дворянско-интеллигентскую жизнь знал он весьма неплохо.

Он открыл тетрадь, подписанную: Николай Бударин «На реке».

Над рекой плавал легкий кружевной туман, пронизанный утренними лучами солнца. Он то поднимался, то опускался плавными медлительными вздохами, отчего казалось, что дышит река. На листьях и цветах черемухи лежали бриллиантовые капельки росы, и там, где падал луч солнца, они вдруг загорались многоцветным огнями... Как языки пламени, поднимались в волнах густой и сочной травы ярко-красные тюльпаны, с торжеством и благоговением смотря в бездонное небо... Темно-синие, всегда очень грустные колокольчики, белые, из матового серебра с красными эмалевыми прожилками и нежно-голубые, хрупкие, с тонкими бледными стеблями, что растут всегда на склонах глинистых гор, пучками рассыпались на узкой, но длинной поляне возле реки, вдоль того места, где полесовщики настраивали плоты. Здесь же рассыпались незабудки. Чудеснейшие незабудки. Они были похожи на малень-

кие голубые звездочки, рассыпанные небом по изумрудному полю поляны днем под лучами солнца... Росли на этой поляне и медуница, полевая кашка, дикий горошек, и когда они все вместе раскрывали свои чашечки, пахло медом так сильно, словно здесь была пасека. И вот тогда приходил сюда медведь, злой и недовольный, с вытертой шерстью на плечах. Он задумчиво ходил по (траве?), нюхал цветы и сердито двумя лапами срывал прошлогодние прелые ягоды голубики и жадно глотал. Потом бесшумно переплывал реку и бродил (?) между наваленными в беспорядке сучьями, взбирался на штабеля бревен и, натываясь на забытую рукавицу, долго, задумчиво вдыхал запах человеческого тела, делался вдруг неподвижным, садился на задние лапы, а передними упирался в землю и бездумно смотрел прямо перед собой. Потом потихоньку, как брошенный щенок, начинал повизгивать и, щуря глаза, то правый, то левый, стонать. Когда приходили люди вырубать лес, старый медведь, тяжело ступая на трех здоровых ногах, уходил в лес или на брусничники...

— Опять приходил, видишь, лапы-то.

Акинпий наклонялся к выдавленному лапой отпечатку, вымерял палочкой длину следа и говорил: «Тот самый — видишь, лапой легонько давит. Нехорошо это — зачастил... Потревожили хозяина, и зря. Не надо было... Ему Бог велел тут жить, а не нам. Энта надо понимать... Зря, зря все это. Худо сделали».

...Застучали топоры, и белые ароматные щепы ложились полукругами на мягкий влажный мох. Огромные листовенницы с нежной обновленной хвоей с треском падали на темную землю, простирая еще сочные ветви к небу, как будто молили Лесного Бога о пощаде.

На этот раз совпадение, несмотря на неожиданность появления в рассказе сочинителя-большевика по-женски красивого описания поляны цветов и даже Лесного Бога, совсем не удивило. Но и не испугало. Только медведя почему-то было сильно жаль. Наверное, пристрелят беднягу в конце рассказа. Отец признавался, что никогда не любил охоты, а навсегда его от охоты отвратил знакомый поляк, хвалившийся, что метко убивает белок, целясь им прямо в глаз, чтобы сохранить шкуру.

— А я так сильно полюбил этого милого сибирского зверька за красоту и полет над ветвями, когда его хвост точно огонек! И если ты внимательно посмотришь, то заметишь: у нашей мамы глаза белки...

Милая, милая моя мама. Эльза обижала ее, а она все равно, конечно, плачет, невестку вспоминая.

...Однако неприятное чувство упорного вмешательства покойного Бударина в жизнь живых после того, как первое впечатление прошло, все равно проявилось и осталось, как накипь на дне чайника. Подумалось: раз я становлюсь мистиком, не обратиться ли к Бударину с просьбой? Пусть он в обмен на мое внимание к его рассказам пошлет мне встречу. Если он так точно все угадывает, значит, сам знает с кем. Но, наверное, для спиритической связи более подходит ночь?

Убирая программку обратно в конверт, он нащупал в нем еще какую-то бумажку: оказалось, это сложенная вчетверо записка, приклеившаяся к внутренней стороне конверта своим уголком. Странно, что он сразу ее не заметил!

«Дорогой Викентий Николаевич, приходите обязательно! Кроме моего сильнейшего желания, чтобы вы как профессионал оценили первое действие моей детской оперы, у меня для вас две хорошие новости касаются главного. Первая: я нашел вам ученицу, это дочь священника Силина Юлия, девушка имеет хорошее сопрано, участвует в моей опере, вся их семья музыкально одаренная, и отец, дилетант-скрипач, надумал сделать из дочери пианистку. Вторая новость еще важнее: у знаменитой исполнительницы романсов Надежды Ивановны Покровской, жены Каритиди, умер аккомпаниатор. Я вас ей порекомендовал. Только она просит вас заранее подумать о сценическом псевдониме. И один нюанс: мать Надежды Ивановны звали Ольга, она скончалась

сразу после ее рождения, а в юности любила какого-то киевского студента-повстанца, сгинувшего у нас в Сибири, и вот она заранее спрашивает, не могли бы вы взять псевдоним Ольгицкий? Это было бы ей в радость. Впрочем, решать вам. Приходите, подумаем вместе. Ваш Иванов-Радов».

* * *

«Дорогая мама, я скоро буду в Иркутске. Если вы увидите на афише: „Надежда Покровская, русские песни и романсы, аккомпаниатор А. Ольгицкий“, знайте: Ольгицкий — это я. Польская музыкальная школа в Иркутске и Московская консерватория не пошли прахом, как говорила тетя Таня (с этого места письмо нельзя читать ей вслух), я давно простил ей сердитость и то, что она не любила меня маленького: я был слишком живым ребенком, а ее горб не дал ей счастья иметь детей. Но хорошо, что вы теперь живете вместе, так вам обоим легче. Если Штейнманы придут на концерт, буду очень им рад. Андрей».

Глава двадцатая. Иркутск

Лекарства и врач, отправленные Бутиным, старому иерею помогли: хоть он уже по-старчески слаб, но жив и даже служит, сообщала Краусу попадая, — он тоже не забывал писать старикам не реже одного раза в месяц, — а вот Лукерья обезножела, ходить за ней в деревне некому, взяли ее в пристройку к священническому дому, заплатил отец Андриан двум мужикам-сойотам, чтобы они ее перевезли на телеге, дай бог, еще поживет. Приезжал поохотиться в Шанамово пан Сокольский, заезжал к нам, дали ему с собой варенья для вас, Викентий Николаевич, да пирогов с яблоками...

Ни варенья, ни пирогов Сокольский не принес, может быть, заходил, да не застал? Юсицу Иосиф Казимирович не доверял, считая того склонным к аферам, но мог оставить посылочку у меланхоличного Штейнмана. Краус зачем-то солгал Штейнману про жениха Кати, и теперь к некоторой неловкости от этого прибавилась тревога — как бы его слова не сбылись: едва возле тоненькой Кати ему представлялся какой-нибудь красавец Романовский — тут же сердце резко обозначало себя сильным толчком в ребра и начинало куда-то катиться, точно бильярдный шар от удара кием.

Каждый день он вникал в бутинские дела и уже неплохо разбирался в сметах, подрядах, особенностях взаимодействия с приказчиками, а также в качестве соли: завод был почти готов к запуску. Вечерами они занимались с Бутиным немецким языком — тот теперь не только читал, но и говорил по-немецки вполне прилично. Как-то он спросил — пришла ли диссертация Курта: Краус ее так и не получил, и на его запрос Адаму Каминьскому ответа тоже не было. Перлюстрация, конечно, сказал Бутин, украли его труд какая-нибудь шельма, возможно, еще в Варшаве, чтобы потом издать под своим именем все, что ваш друг написал, или здесь вскрыли, решив, что отправлено что-то ценное, а там одни бумаги, тут и выбросили все с досады... Лучше, если диссертация попала в политическую цензуру: это ведомство ничего никогда не выбрасывает, если не найдут опасных мыслей, почту отправляют по адресату, мне вот однажды письмо из Петербурга шло почти четыре месяца, а найдут — она у них и останется, но зато аккуратно подошьют ее к делу с грифом «Секретно» — сразу и на века, а, поскольку получают ответ из Варшавы, что отправителя нет в живых, дело закроют и уберут в хранилище... Могло ли быть в содержании что-то, так сказать, неблагонадежное?

— Курт писал не только о Пушкине, но и о его связи с декабристами.

— Но тогда вряд ли вы диссертацию увидите.

* * *

Умер Егор Алфеевич. На отпевание в Крестовоздвиженской церкви и похороны Краус опоздал — Бутин, пообещав ему скорое место управляющего новым заводом, срочно уехал в Нерчинск, оставив его руководить приказчиками: шла разгрузка под-вод, не обошлось без производственных конфликтов, и когда все уладив, он освобо-дился, уже вечерело, поспел он лишь на самый конец поминок в доме Зверевых. Дом сейчас словно почернел, окна глянули скорбно, а ступеньки не скрипнули, а тонень-ко всхлипнули.

Преподаватели-сослуживцы из Девичьего института, чиновники Губернского управ-ления, где Егор Алфеевич служил последние два года, и отпевавший покойного священ-ник отец Александр уже ушли, оставались за столом, кроме потерявшей отца и мужа се-мьи, только младшая сестра Елизаветы Федоровны, Елена Федоровна с горбатенькой дочерью Таней, кузиной Анны и Кати, старик Касаткин, неожиданно для Крауса ока-завшийся дальним родственником Егора Алфеевича, да Иван Иннокентьевич Оглуш-ко. Обида за Курта сейчас, на фоне горя Зверевых, чуть приугасла, но садиться с док-тором рядом Краус все-таки не стал, предпочтя свободный стул рядом с Таней, отчего напротив него оказались Анна и Катя. Анна, едва он встретился с ней взглядом, до-стала папиросу и закурила, а Катя, показавшаяся ему пронзительно красивой в чер-ном траурном платье, сидела, опустив глаза, ни на кого не глядя. Когда Краус при-шел, извинившись, что из-за внезапного отъезда Бутина вынужден был его замещать, опять выпили за помин души Егора Алфеевича, и разговор, уже от смерти перешед-ший к жизни, как это всегда случается на поминках, снова вернулся к покойному и к — теме смерти.

— Отец Александр рассказал о том, что за третий день до смерти он увидел выле-тевшую облачком душу умирающего, я не стал его опровергать, — сказал Оглушко, — мало ли кому что покажется, священники вообще живут в особом мире, почти каждый день провожая людей в последний путь, они должны были создать для себя какую-то защитную теорию, иначе бы не выдержали постоянного соприкосновения со смертью, но сам я как медик убежден: жизнь тела кончилась — и кончилось все, однако же бес-смертие человека — не сказка, оно — в его потомках, жива ведь частичка Егора Ал-феевича в Анне и Кате, а значит, и внукам они могут ее передать... Вот и бессмертие.

— Меня больше всего пугает, когда я подумаю, что покойник может под землей очнуться, — сказал старик Касаткин, — читал много случаев, когда менее опытные, чем вы, господин Оглушко, медики принимали за смерть летаргический сон, знаме-нитый писатель Гоголь, которого врачи и отправили в могилу, очнулся в ней, это са-мый известный случай, и таких не так мало, кости мертвецов обнаруживаются со сле-дами движения.

— В том виновно движение почвы и подземных потоков, Иван Селиванович!

— Не скажите, Иван Иннокентьевич! Иногда обнаруживаются и следы настоящей борьбы за жизнь.

— Господи, как страшно! — сказала горбатенькая Таня. Ее красивое лицо как цве-ток на кривом пеньке тела, глянув на нее, подумал Краус.

— И насчет отца Александра вы не правы. Он по чистоте своей души удостоился видеть, как покинула тело душа, а вы, выходит, этого не удостоились.

— Спор, изначально обреченный попасть в тупик, — сказала Анна, — доктор — материалист, а понятие души принадлежит философии идеализма.

— Иван Селиванович прав, — тихо сказала Катя, — я стояла рядом с отцом Алек-сандром, и мне показалось то же, что и ему.

— В общем, скрестили шпаги два Ивана — верующий и неверующий, — сказал Оглушко. — Простите уж нас, дорогая Елизавета Федоровна, помянем Егора Алфеевича добрым словом еще раз.

— И пусть он сам нам оттуда подаст сейчас знак, что прав Иван верующий! — воскликнул Касаткин.

Простучали, отмечая спешащее время живых, деревянные настенные часы. Все тревожно замолчали.

— Сейчас голос Егора Алфеевича как бы внутри меня прозвучал, — Елизавета Федоровна испуганно посмотрела на Оглушко, — он сказал: «Поговорите о живых».

Тут же как-то слишком поспешно заговорили, доктор стал рассказывать о своем родившемся внуке — младенце Юзефе Романовском, уже в трехмесячном возрасте разительно похожем на отца, ну просто вылитый шляхтич, усмехнулся Оглушко, так и гоняет нас всех своим властным криком, потом Елена Федоровна рассказала, что ее муж-географ путешествует вместе с Черским, добавив, что и дочь хозяйки Ивановой, у которой Черский квартирует, поехала с ними вместе в горы, не опасаясь опасных переходов и неженских трудностей. Егор Алфеевич говорил, что Черский — прекрасный человек, сказала Елизавета Федоровна, дом Ивановых ведь недалеко от нас, они были хорошо знакомы, Черский делился с ним своими планами: он желает навсегда остаться в России.

— А мои только и глядят в календарь: скоро ли можно будет уехать из Сибири, — сказал Оглушко, — а вы, Викентий Николаевич, что замыслили?

И в этот миг Катя посмотрела на Крауса, и он — в ее глаза. И тут же, исчезая из-за стола, заскользил по длинному водному каналу, мгновенно соединившему их и вспыхивающему за его зрачками белыми и голубыми искрами. Он что-то ответил, а может быть, не ответил вовсе. Вернула его к говорящим вставшая и резко отодвинувшая стул Анна. И когда он уходил, Анна выбежала за ним на крыльцо и крикнула: «Вы уже любите Катю, и она!..»

И она... Она!

На обратном пути он зашел не в костел, а в Крестовоздвиженскую церковь. Возле иконы чтимого в Иркутске Николая Чудотворца молился какой-то сутуловатый офицер в длинной шинели. Потапов? Если даже это он, сейчас подходить, напоминать о себе и рассказывать о Курте неловко.

Краус поставил свечу к распятию на помин души милого человека Егора Алфеевича и еще одну — к иконе Казанской Божьей Матери.

— О, Matka Boska, — прошептал он, — Сибирь моя благословенная.